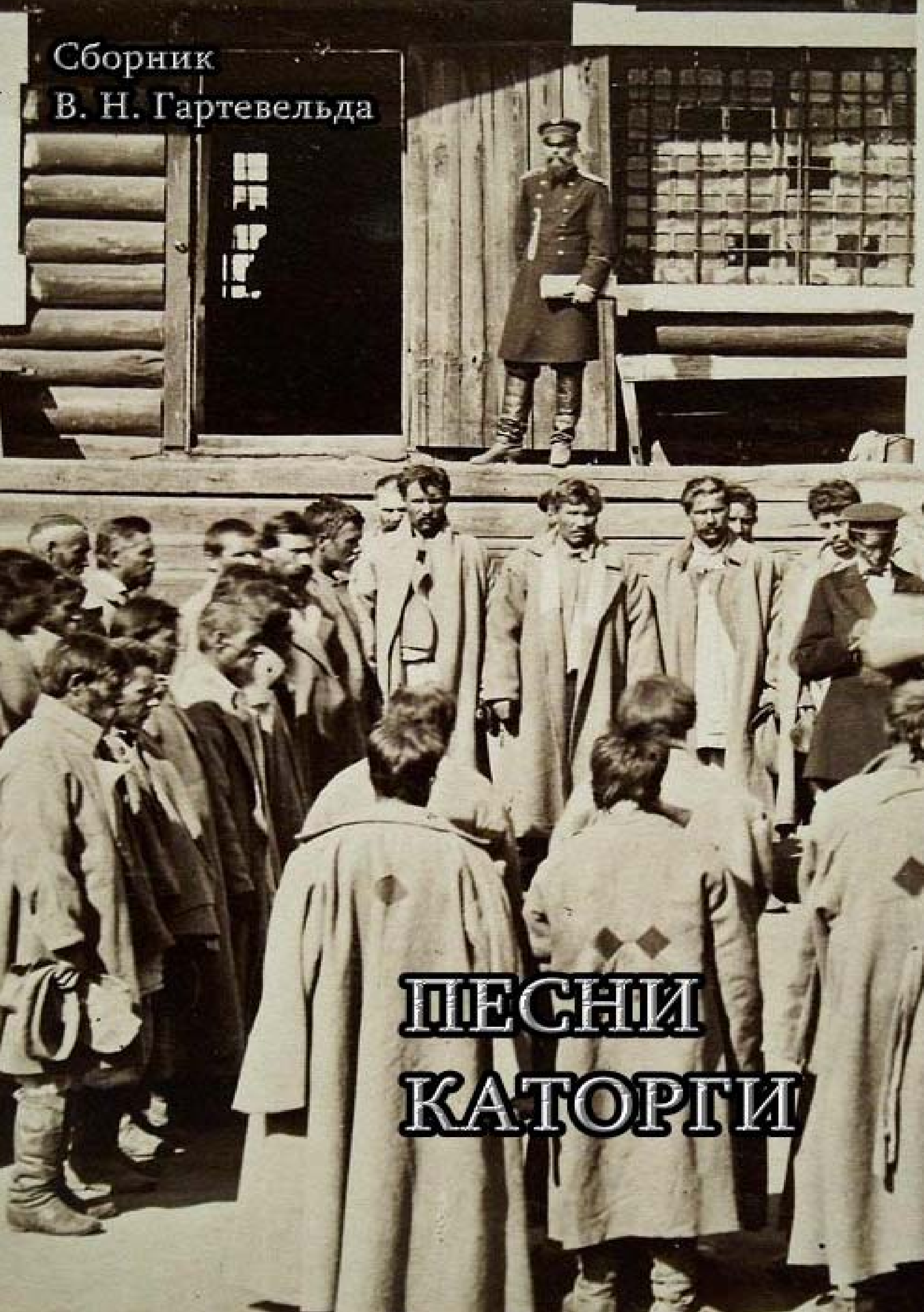


Сборник
В. Н. Гартевельда

Песни каторги



Salamandra P.V.V.

ПЕСНИ КАТОРГИ

Песни сибирских каторжан, беглых и бродяг

Сборник В. Н. Гартевельда с приложением очерков
о каторжных и тюремных песнях и поэзии:
С. В. Максимова
Н. М. Ядринцева
В. М. Дорошевича

Salamandra P.V.V.

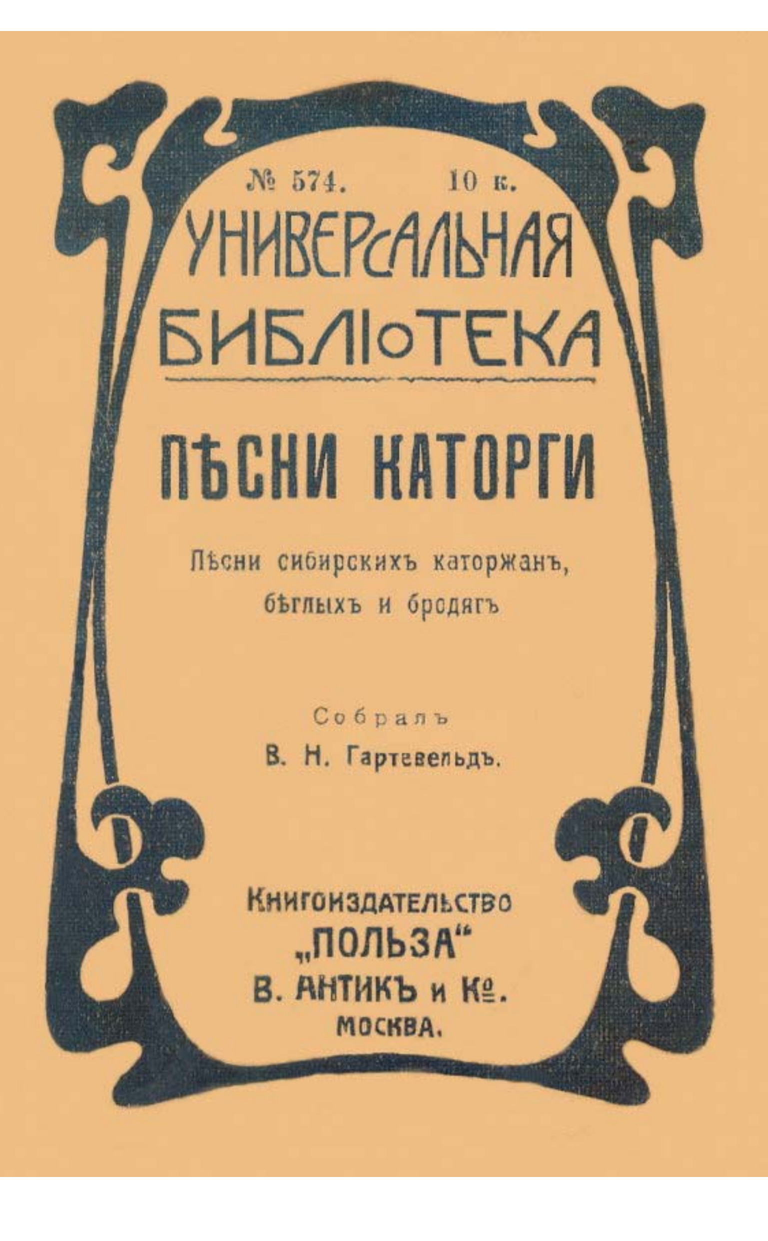
Песни каторги.

Сборник В. Н. Гартевельда с приложением очерков о каторжных и тюремных песнях и поэзии С. В. Максимова, Н. М. Ядринцева, В. М. Дорошевича. Б.м.: Salamandra P.V.V., 2012. – 197 с. – PDF.

«Славное море, священный Байкал», «По диким степям Забайкалья» – сегодня музыкальная культура непредставима без этих песен. Известностью своей они обязаны выходцу из Швеции В. Н. Гартевельду; этот композитор, путешественник и этнограф в начале XX в. объехал всю Сибирь, записывая песни каторжан, бродяг и коренного сибирского населения.

Концерты, на которых исполнялись обработанные Гартевельдом песни, впервые донесли до широкой публики сумрачную музыку каторжан, а его сборник «Песни каторги» (1912) стал одним из важнейших источников для изучения песенного фольклора сибирской каторги.

В нашем издании полностью воспроизводится сборник В. Н. Гартевельда «Песни каторги» с приложением очерков о тюремных и каторжных песнях этнографа и писателя С. В. Максимова, литератора и ученого Н. М. Ядринцева – сибирского «сепаратиста» и острожника – а также «короля фельетона» В. М. Дорошевича, совершившего в 1897 г. поездку на сахалинскую каторгу.



№ 574. 10 к.
УНИВЕРСАЛЬНАЯ
БИБЛIОТЕКА
ПѢСНИ КАТОРГИ
Пѣсни сибирскихъ каторжанъ,
бѣглыхъ и бродягъ
Собралъ
В. Н. Гартевельдъ.
КНИГОИЗДАТЕЛЬСТВО
„ПОЛЬЗА“
В. АНТИКЪ и К°.
МОСКВА.

ПЕСНИ КАТОРГИ

Песни сибирских каторжан, беглых и бродяг

Собрал и записал в Сибири
В. Н. ГАРТЕВЕЛЬД

ОТ СОСТАВИТЕЛЯ

Песни, собранные здесь, являются результатом моего путешествия по Сибири летом 1908 г., куда я ездил с целью записать песни каторжан, бродяг и инородцев Сибири. По этой части мною исследован весь Великий Сибирский Путь от Челябинска до Хайлара, а также и Тобольская губерния до реки Лойвы на севере, где начинаются самоедские поселения. О моем посещении сибирской каторги и о виденном мною там я меньше всего буду распространяться, так как до меня там побывали люди не только компетентные, но и гениальные, как Достоевский, и талантливые, как Чехов и Дорошевич (хотя последние не посетили сибирской каторги, а побывали только на Сахалине).

Последний человек, который до меня, как посторонний, посетил сибирскую каторгу, был американец Кеннан. Книга его с описанием сибирской каторги наделала много шуму пятнадцать лет тому назад.

За это время многое переменилось в сибирской каторге, и она значительно изменила свою физиономию. Я бы сказал, что нравы и режим стали мягче и гуманнее; по крайней мере, de jure. Этим я вовсе не хочу сказать, что каторга что-нибудь потеряла от своего ужаса: каторга не стала курортом…

Главная перемена произошла в составе самих каторжан. В то время, когда Кеннан посетил каторгу, в состав каторжан входили одни уголовные; теперь же огромный процент каторжан составляют, так сказать, не уголовные. Песни последней категории каторжан, т.-е. политических, как бы ни были они интересны в бытовом отношении, в музыкальном отношении значения не имеют, так как мотивы их почти все заимствованы из западноевропейских песен.

Я не буду говорить здесь о том, что я видел, а только о том, что я слышал, то есть, о песнях.

Песни каторжан чрезвычайно разнообразны, и правду сказал мне один каторжанин тобольской каторги, бывший

священник Мурайченко: «В наших песнях отражается весь душевный мир заключенных».

Есть молитвы, застольные песни, песни беглых, любовные излияния, марши и др.

Песни каторжан надо делить на две категории: песни индивидуального творчества, т. е. песни сочиненные, и песни чисто народные.

В первой категории найдутся песни Ваньки Каина, разбойников Кармелюка, Гусева; наконец, есть песни, который приписываются Стеньке Разину, и песни, которые, как говорят, занесены туда удалыми шайками Ермака.

Сами сибиряки, при всех их несомненных достоинствах, при их энергии, обилии предпринимательского чутья и выносливости, крайне немузыкальны и совершенно не поют.

В сибирской деревне, даже самой богатой и наиболее развитой в том отношении, что туда проникла техническая культура века, вы услышите лишь обычную частушку, с ее примитивным напевом (и массой — замечу в скобках — фривольно-циничных прибауток на деревенско-общественные темы).

Единственными носителями музыкальной культуры в этом крае, как это ни странно, являются каторжники, бродяги и беглые, в особенности эти две последние категории.

Случай услышать пение беглых и бродяг еще можно найти, но услышать пение каторжников может только человек, рожденный под особенно счастливой звездой.

Я уже не говорю о том, что путешествие от русских культурных центров к глухим местам Сибири сопряжено с массой неудобств. Кроме всего этого, нужно еще проникнуть в каторжную тюрьму; а это — очень трудно. Мне посчастливилось — я, если можно так выразиться, попал на каторгу, — и вдруг оказалось, что никто из каторжников не знает никаких песен.

Объясняется это «незнание» очень просто. Во всех каторжных тюрьмах Сибири всякое пение — кроме богослужебного — строго запрещено.

И когда мы со смотрителем каторги в Тобольске делали обход тюрьмы и спрашивали арестантов, не знают ли они

каких-либо песен, то везде получали ответ: «песнями не грешны, ваше благородие, никогда их не знали» и т. д. А когда мы вошли в камеру бессрочных сахалинцев (профессиональные убийцы и грабители), то один из них, глядя исподлобья, сказал нам: «Мы, ваше благородие, — хищные птицы. На воле и то не поем, а мясо клюем».

Но когда начальство уверило их, что им не только не будет наказания, а наоборот — благодарность, они мне пели, и я записывал!.. Пели мне хором и отдельными голосами.

Больше всего я записал песен в тобольской каторге, а также в Акатуевском округе. Меньше всего я записывал в Нерчинске. Рудники там свинцово-серебряные. Свинец ложится на легкие каторжников, что мало способствует пению вообще.

Самое сильное впечатление на меня произвели две песни: «Из Кремля, Кремля, крепка города» — эту песню мне пели три старика в богадельне в Тобольске (это были бывшие каторжники карийской каторги). Потрясающее впечатление также произвел на меня «Подкандальный марш».

Так как в тюрьме запрещены всякие музыкальные инструменты, то исполняется он на гребешках, с тихим пением хора и равномерными ударами кандалов.

Игру на гребешках ввели матросы с «Потемкина». У них во время этапа по Сибири был целый оркестр из своеобразных инструментов. Во время марша хор поет с закрытым ртом — получается нечто, замечательно похожее на стон: гребешки ехидно и насмешливо пищат, кандалы звенят холодным лязгом — картина, от которой мурашки бегают по спине. Марш этот — не для слабонервных, и на меня, слушавшего его в мрачной обстановке тобольской каторги, он произвел потрясающее впечатление. Трудно поверить, но один из надзирателей во время этого марша заплакал. «Подкандальный марш» можно назвать гимном каторги.

Что меня приятно поразило во время нашего музыкального утра в тобольской каторге, помимо самих песен, это — исполнение.

Видно было, что хористы, обладающие к тому же хорошими голосами, пели с одушевлением, да и Мурайченко уп-

равлял хором с большим умением. И некоторые песни мне пришлось просить повторить, так как трудно было с одного раза верно записать их гармонию.

Чем дальше удаляешься к востоку, тем мотивы тюремных песен становятся более оригинальными, и в нерчинском и акатуевском округах есть уже песни, которые отдают якутскими и бурятскими мотивами, а к северу от Тобольска в мотивах этих уже звучит песня вотяков, заимствованная чуть ли не вполне.

Например, две песни: «Вслед за буйными ветрами» и «Ой, ты, тундра», слышанные мною от тобольских каторжан, я слышал потом в остяцкой юрте у остяка под фамилией «Телячья Нога».

Соприкосновение с инородцами отражается и на русских арестантских песнях, так что иной раз даже трудно установить тональность той или другой песни. Например, в песне: «На пути села родного» (тобольская каторга) запевало начинает песню с тональности *ля бемоль мажор*, хор подхватывает, и, к изумлению, вся песня кончается в *си бемоль мажор*. Запевало опять, каким-то чутьем, начинает второй куплет в *ля бемоль мажор*... Фокус, которого не проделает ни один оперный певец без посторонней помощи.

Гармонизация в русских арестантских песнях почти сплошь построена на церковный лад. Характерным признаком такой песни является пустая квинта, которой песня обычно кончается. Есть песни и юмористические, причем юмор хорошо передан и музыкой.

Очень интересный элемент я нашел в Нерчинске — это польский элемент. В 63-м году в Нерчинск было сослано около трех тысяч поляков, а между ними и вожди движения, как Видорт, Высоцкий, Бенчик и другие. Их, конечно, давно нет, но потомки их до сих пор около Нерчинска сохраняют обычаи, нравы, язык и религию предков. Песни их сохранились и поются нынешним поколением каторжников. Из этих песен записанная мною: «Кибель мой» является одною из выдающихся в моей коллекции.

Особенным родом людей в Сибири надо считать бродяг. От Челябинска до Владивостока вся Сибирь кишит ими. Ти-

пичный сибирский бродяга в большинстве случаев — каторжник и непременно уголовный, при этом обыкновенно из бессрочных, так как малосрочному каторжнику нет расчета бежать; а политический каторжник, если сбежит, то уж совсем сбежит и в Сибири, конечно, не останется.

Обыкновенно весной, когда выводят каторжников на вольные работы по исправлению дороги в тайге или в каменоломни, каторжник бежит. Летом, пока тепло, он скитается по Сибири. Днем он в тайге, ночью подходит к селениям за питанием; а осенью, когда наступают холода, он возвращается в каторгу, заявляет, что он беглый, получает определенное наказание и водворяется на каторге до будущей весны, а там опять бежит. Это есть, так сказать, формулярный список сибирских бродяг.

Бродяга — человек отчаянный, способный из-за нескольких копеек зарезать кого угодно; и несколько песен мне пришлось записывать в тайге не то карандашом, не то револьвером. Сибиряки, или, как их презрительно называют бродяги, «чалдоны», стараются быть с бродягами в хороших отношениях, так как бродяги иначе способны спалить селение, перерезать скот, убить, ограбить и т. д. Поэтому ночью выставляют в селениях на окнах изб молоко и хлеб для бродяг, а картофель и репу сеют в Сибири около большой дороги опять для того, чтобы бродяги могли пользоваться этим. Вообще, сибиряки относятся гуманно как к каторжникам, так и к бродягам и никогда не называют их ни каторжниками, ни бродягами, а всегда «несчастненькими».

Бродяги являются главными хранителями настоящих старинных песен, как, например, песни Ваньки Каина, Стеньки Разина, Кармелюка и др., т. е. песен, имеющих в этнографическом отношении наибольшую ценность.

Они почти всегда сопровождают свои песни игрою на свирелях, или — по-сибирски — «пищурках».

Во всех песнях бродяг проглядывает огромная чисто народная поэзия, а местами высокий лирический подъем. Этот элемент поэзии можно объяснить только постоянным соприкосновением бродяг с природой.

Есть еще одна странная черта у каторжан и бродяг, которую до меня заметили и другие: самые отъявленные головорезы и убийцы из них питают какую-то страсть к нежным песенкам и сентиментальным стихам, — это какая-то странная психологическая черта, трудно объяснимая.

Очень интересны песни сибирских инородцев; но они чрезвычайно трудны для записи, так как изобилуют четвертными тонами, а кроме того, происходит какое-то glissando в голосах, которое очень трудно записывать. Построены они часто на финских гаммах, но попадается масса песен, построенных на гаммах японских и китайских; последние — особенно у бурят («Молитва ламаитов», «Заклинание шаманов», а также «Песнь айноса»).

Не все то, что я привез из Сибири, представляет собою чистое золото, — есть и песок. Я постарался устроить промывку и включил в свою коллекцию только то, что мне кажется интересным. В этнографическом отношении не все песни представляют интерес; есть и песни бытовые, так сказать, новейшей формации; но ведь настоящее для человека не менее интересно, чем прошлое.

Инструментов, которыми инородцы сопровождают свои песни, как-то: киотанг, данхай, кобыза, бишкура, кантеле и др., я в Сибири добыть не мог, да и в России для них не нашлось бы исполнителей; их приходится заменять роялем, арфой или другими струнными инструментами.

Немало песен пришлось мне гармонизировать, а некоторым придать сопровождение; хоры à capella я оставил в полной неприкосновенности, и на концертах мы передаем их точно так, как я их слышал там.

К словам песен и к мелодическим рисункам я относился педантично точно и, записывая, ничего не изменял. Многие песни были записаны в нескольких вариантах; здесь напечатанные — наиболее распространенные из них, хотя и не самые совершенные.

Думаю, что эти песни еще лишний раз доказывают, что человеческая душа живуча и даже в негостеприимных тайгах и тундрах Сибири, в ужасных казематах каторги куда-то рвется и находит себе отражение хотя бы в этих песнях. Мне думается, что для нас, людей сытых, довольных и свободных, небесполезно знать эти песни — песни несчастных и отверженных *).

В. Н. Гартевельд



* Более подробные сведения о «Песнях каторжан» читатель найдет в журнале «Русское богатство» (январь и февраль 1911 г.) среди моих очерков и рассказов о Сибири и каторге «В стране возмездия»).

I.

ПЕСНИ КАТОРЖАН

№ 1.

«Ах ты доля»

(Тобольская каторга)

Ах ты доля, моя доля,
Доля-долюшка моя,
Ах зачем же, злая доля,
До Сибири довела?

Не за пьянство и буянство
И не за ночной разбой
Стороны родной лишился, —
За крестьянский мир честной!

Год в ту пору был голодный:
Стали подать собирать
И последнюю скотинку
За бесценок продавать.

Очутился я в Сибири,
В тесной шахте и сырой,
Здесь я встретился с друзьями.
Здравствуй, друг, и я с тобой!

Далеко село родное,
Но хотелось бы узнать,
Удалось ли односельцам
С шеи подати скачать?

№ 2.

«Посреди палат каменных»

(Акатуевская каторга)

Посреди палат каменных ты подай, подай весточку
В Москву каменну, белокаменну.
Ты воспой, воспой, жавороночек,
Про горькую да неволюшку!

Кабы весть мне подать
Да отцу рассказать
Про то, что со мною случилося
На чужой, на той сторонушке.

Я ведь не был вор, не был вор!
Да убивец не был никогда!
Но послали меня, добра молодца,
Попроведать каторги, распроклятой долюшки.

Позабыли меня, словно сгинул я...
Но ведь будет пора, и вернуся я
За беды и зло я вам отплачу,
Будет время! Я вернуся!

№ 3.

«Кибель мой»

(Нерчинские рудники)

(Польская, создана поляками, сосланными в Сибирь в 1863 г.)

Кибель *) мой, кибель мой
Поднимается, опускается.
Тянем-ка, тянем-ка,
Раз, два, хватай!

В шахте там, в шахте там
Копошатся и умаются.
Тянем-ка и т. д.

Руда там, руда там
Разбивается, разлетается.
Тянем-ка и т. д.

Кибель мой, кибель мой
Поднимается, опускается.
Тянем-ка и т. д.

---

* Кибель – корзина, в которой из шахты поднимают руду.

№4.

«Ах ты зимушка»

(Общая тюремная)

Ах ты зимушка, ты зима студеная!
Все поля кругом как снегом занесло!
Пенье птичек уж давно как замерло.
Ах ты зимушка, ты зима студеная!

В камере как холодно, в камере моей как холодно!
За решеткой средь каменных палат
Плохо греет мой дырявенький бушлат.
В камере как холодно, в камере как холодно!

Лето дивное, расчудесное;
Оживает все.
Вокруг все расцветет
И к свободе все зовет.

№ 5.

«С Иркутска ворочуся»

(Александровская каторга)

С Иркутска ворочуся
Счастливым может быть,
Быть может наживуся —
Счастливо будем жить.

Тюремные ворота
Для нас отворены,
Все тяжкие работы
На нас возложены.

Еще один годочек
В тюрьме побуду я,
А там, мой мил-цветочек,
Явлюся я, любя.

С густыми волосами,
С ногами без браслет
Явлюся я меж вами
С иголочки одет.

№ 6.

«Звезда, прости»

(Тобольская каторга)

Звезда, прости, пора мне спать,
Но жаль расстаться мне с тобою;
С тобою я привык мечтать, —
Ведь я живу одной мечтою.

А ты, прелестная звезда,
Порою ярко так сияешь,
И сердцу бедному тогда
О лучших днях напоминаешь.

Туда, где ярко светишь ты,
Стремятся все мои желанья,
Там сбудутся мои мечты; —
Звезда, прости и — до свиданья!..

№ 7.

Вопль узников [*])

(Тобольская каторга)

Ой ты Боже милосердный,
Боже сильный и прещедрый,
Прославляем твою милость
Боже взглянь на нашу щирость.

Дай нам Боже, дай нам с неба,
Дай чего нам больше треба,
Дай нам мира и спокою...
Пид могучею рукою.

[*] Точная орфография каторжника Тобольской каторги бывшего священника Мурайченко.

№8.

«Встану я чем свет»

(Нерчинские рудники)

Встану я, чем свет зарумянится,
Осеню крестом грудь широкую,
С киркой, с фонарем в шахту я спущусь
И пойду долбить руду-матушку!

Оживет тогда мать сыра земля,
Киркой глубоко взборожденная,
Стонет мать земля, точно ранена,
Под ударами стонет мать земля!

Силушка моя богатырская
Держится еще, но надолго ли?
Да и мать-земля притомилася,
С горки да крутой покатилася.

Ломит грудь мою, тяжко мне вздохнуть,
Ночью или днем все темно кругом.
Мнится мне порой, будто помер я,
Будто я давно уж похоронен!

№ 9.

«Зачем я, мальчик, уродился»

(Тобольская — тюремная)

Зачем я, мальчик, уродился,
Зачем тебя я полюбил?
Ведь мне назначено судьбою
Идти в Сибирские края! *)

В Сибирь жестокую далеко
Судом я в ссылку осужден,
Где монумент за покоренье
В честь Ермака сооружен.

Придет цирюльник с вострой бритвой,
Обреет правый мой висок,
И буду вид иметь ужасный
От головы до самых ног.

Пройдет весна — настанет лето,
В садах цветочки расцветут,
А мне несчастному за это
Железом ноги закуют.

---

* Вариант:

Я в Петербурге уродился
И воспитался у родных
А воровать я научился
Там у приятелей своих.

Но там, в Сибири, в час полночный
Свяжусь я вновь с чужим добром
И одинокий и несчастный
Пойду урманами *) тайком.

Дойду до русской я границы,
Урядник спросит: «Чей такой?»
Я назову себя бродягой,
Не помня родины своей!



* Урман – тайга.

№ 10.

«В шахте батюшку убило»

(Нерчинские рудники)

(Женская)

В шахте батюшку убило,
Друга порох разорвал,
И осталась я без мила,
Как былинка без воды.

Штегер три рубля дарил мне,
Я с презреньем не взяла,
Мово Ваничку я помню.
Осталась ему верна.

Как я долго ни грустила,
Все же Ваню позабыла,
Пришел Гриша молодой,
Полюбился мне душой.

С ним частенько я целуюсь,
Сладки речи говорю…

№ 11.

Кандальный марш

(Тобольская каторга)

(Поется хором, с равномерными ударами кандалов.
Мелодия частью играется на гребенках)

В ночи шпаната [1]) и кобылка [2]),
Духи [3]) за нами по пятам.
Ночью этап, а там бутылку,
Может, Иван [4]) добудет нам.

[1] Шпаната – малдшие члены каторги.
[2] Кобылка – вся каторга.
[3] Духи – конвой и вообще всякое начальство.
[4] Иван – старший в камере или в этапе из бывалых каторжан.

№ 12.

Говорила сыну мать

(Тобольская)

Вспомню, вспомню, вспомню я,
Как меня мать любила
И не раз да и не два
Она мне говорила:

Эх, мой миленький сынок,
Не водись с ворами,
В каторгу-Сибирь пойдешь,
Скуют кандалами.

Котелки с собой возьмешь,
Конвой пойдет за вами,
Подкандальный марш споешь
С горькими слезами.

Вспомнишь ты старушку мать,
И родного брата,
Не утерпит ретивое,
Ты убьешь солдата.

Прослывешь бродягой ты,
Будешь всех бояться,
Ночью по полю ходить,
Днем в лесу скитаться.

№ 13.

«Вечерком красна девица»

(Акатуевская каторга)

(Несмотря на слащаво-сентиментальные слова, эта песня особенно любима сибирскими каторжанами)

Вечерком красна девица
На прудок со стадом шла,
Черноброва, круглолица,
Так домой гусей гнала:
Припев: Тяга, тяга, тяга, тяга [*]),
Вы, гуськи мои, домой!

Мне одной любви довольно,
Чтобы век счастливой быть,
Но сердечку очень больно
Поневоле в свете жить.
Припев: Тяга, тяга и т. д.

Вместо старого, седого
Буду милого любить.
Ведь сердечку очень больно
Через злато слезы лить!
Припев: Тяга, тяга и т. д.

[*] Вариант: тага, тага…

№ 14.

Казачество в турецкой неволи *)

(Тобольская каторга)

Ревут стонут горы хвили
В синесинським мори.
Плачуть тужуть казаченьки,
В турецкой ниволи.

Вот два роки у кайданах,
Терпим тяжки муки,
За що Боже милосердный
Нам послал ци муки.

Спидбуркалы янычары
Орла за Украины,
Спидбуркалы тай вкинули
Живым в домовину.

Гей вы хлопцы запорожцы
Сыни славной воли,
Чем нейдете вызволяты
Нас с тяжкой ныволи?

* Точная орфография каторжанина Тобольской каторги (бывшего священника) Мурайченко.

№ 15.

«Как настанет весна»

(Тюремная)

Как настанет весна, я окончу свой срок,
Из тюрьмы я на волю пойду.
По лесам и лугам я бродяжить пойду, —
Как настанет весна, я пойду.

Беспредельный простор — мой зеленый шатер,
День деньской Божьи пташки поют,
И вдали от тюрьмы кедры там в вышине
Свой привет тихо-тихо мне шлют...

Все же это не те мне родные места,
Все же это мне край чужой.

Как настанет весна, я окончу свой срок,
Из тюрьмы я на волю пойду.
По лесам и лугам я бродяжить пойду
До родного села я дойду!

№ 16.

«Там, где бьется Каспийское море»

(Тобольская каторга)

Там, где бьется Каспийское море
О подножие каменных гор,
Эту песню про узника горя
Написал Циклаури Егор.

Пятый год за решеткой томлюся,
Пятый год я в тюрьме уж сижу.
Скоро я из тюрьмы удалюся
И людям о тюрьме расскажу.

Так, свалявшись на голые нары,
Я пред сном про себя размышлял
В каземате далеком, в Петровске,
Где свой срок я тогда отбывал.

В эту ночь будто сон мне приснился:
Из тюрьмы я на волю пошел,
И на радостях пьяный напился
И товарища где-то нашел.

№ 17.

«Прощай, Киев, до свиданья»

(Тобольск)

Прощай, Киев, до свиданья,
Прощай, Киевска тюрьма!
Скоро, скоро глаз увидит
Все сибирские края.

Скоро, скоро с пересылкой
Проведет тебя конвой,
На ноги дадут браслеты,
Сбреют волос твой густой.

За Сибирью солнце всходит,
А в Сибири — никогда.
И в Сибири — те же люди,
Все старинные друзья!

№ 18.

«Не рябинушка со березанкой»

(Тюремная)

Не рябинушка со березанкой
        Совивается,
И не травушка со травушкой
        Соплетается.
Как не мы ли, добрые молодцы,
        Совыкалися,
Как леса ли, вы лесочки,
        Леса наши теплые!
Вы кусты ли, наши кусточки,
        Кусты наши великие!
Вы станы ли наши крепкие,
        Станы наши теплые
Вы друзья ли бродяженки,
        Братцы-товарищи!
Да еще ли вы, лесочки,
        Все повырубленные!
Все кусты ли, наши кусточки,
        Все поломанные!
Вы станы наши крепкие,
        Все разоренные!
Вы друзья ли, бродяженки,
        Все ли вы посажены!
Лишь остался один
        Стенька Разин сын.
Резвы ноженки в кандалах заклепаны;
У ворот то стоят все солдатушки;
Никуда-то нам, добрым молодцам,
Ни ходу, ни выходу из крепкой тюрьмы.
Ты возмой, возмой, туча грозная,
Да разбей-ка, разбей земляны тюрьмы!

№ 19.

Палач (Колыбельная)

(Акатуевская каторга)

Спи, бедняга, спи, родной,
Скоро придут за тобой...
Скоро ноченька пройдет,
Скоро солнышко взойдет...

Утром рано крикнет грач
И подымется палач;
Он в тюрьму к тебе придет
И с конвоем поведет.

Там в лесочке ель стоит,
И на нем петля висит...
А на ели кричит грач,
И подымется палач.

Плата уж ему дана,
А веревка так крепка...
В страхе старый ель дрожит,
А вдали-то гром гремит.

Встань, бедняга, встань, родной,
Скоро придут за тобой...
Слышишь, вот кричит уж грач,
В двери уж стучит палач.

№ 20.

«Из-за лесу, лесу темного»

(Зарентуйская каторга)

Из-за лесу, лесу темного,
Из-за гор-то, гор высокиих,
Выплывает лодка легкая,
Ничем лодка не украшена,
Молодцами изусажена;
Посеред шатер стоит,
Под шатром-то золота казна;
Караулит тут красна девица,
Девка плачет, как река льется;
У ней слезы, как волны бьются.
Атаман девку уговаривает:
«Не плачь, девка, красна-девица!»
«Как мне, девице, не плакати?
Атаману быть убитому!
А мне, девушке, тюрьма долгая,
Поселение далекое:
В чужедальнюю сторонушку,
Что в Сибирь-то некрещеную!»

№ 21.

«В шахте молотки стучат»

(Нерчинские рудники)

В шахте молотки стучат,
Фонари едва горят,
Мина зажигается,
Люди разбегаются.
Тяжко, братцы,331ековать в труде.
Некуда укрыться нам в беде.
Все одно, все одно!
Молотками постучать,
Света Божья не видать.

Под землею холодно,
Под землею и темно.
Ноженьки мои болять
И трудненько мне дышать.
День ли, или ночь — нам все одно,
Под землею завсегда темно.
Все одно, все одно!
Молотками постучать,
Света Божья не видать.

Колокол как зазвонит,
Всяк подняться вверх спешит,
Смена новая придет
И работать вновь начнет.
Солнышка почти нам не видать,
Время нет, чтоб милую ласкать!
Все одно, все одно!
Молотками постучать,
Света Божья не видать.

№ 22.

«Ни в Москве, ни за Москвой»

(Тюремная)

Ни в Москве, ни за Москвой,
Меж Бутырской и Тверской,
Там стоят четыре башни,
А в средине дом большой,
Где крест-накрест коридоры,
И народ сидит — все воры.
Каркал ворон на березе,
Каркал черный не к добру:
«Пропадешь, как пес, мальчишка,
Здесь в проклятой стороне.
Прежде жил ты, веселился,
Как имел свой копитал *),
С красной девицей водился,
Копитал свой промотал.
Копиталу не хватало,
Во неволи жить пришлось;
В белокаменный острог
Посадили на неделю.
А сидим мы круглый год,
За тремя мы за стенами,
Не видали светлый день.
Бог-Творец один здесь с нами;
Часто звезды нам сияли;
Мы и тут не пропадем!
Часто звезды потухали,
Барабан зорю пробил,

* По-арестантски, от слова – копить.

Клюшник двери отпирает
Всех на имя нас зовет:
«Одевайтесь, ребятишки,
В свои серы чапаны!»
Взяли сумки, подхватили
И в поход ушли-пошли.
У родных сердца забьются,
Слезно плакали об нас.
Отправляли нас в Сибири,
Не спрося об этом нас.



№ 23.

«Когда-то было»

(Зерентуйская каторга)

Когда-то было ясну соколу пора-времячко,
Что летал ясен сокол по поднебесью;
Убивал ясен сокол гусей-лебедей,
Убивал ясен сокол серых уточек.
Да когда-то было добру молодцу времячко,
Что ходил-гулял добрый молодец на волюшке,
А теперь добру молодцу ходу-выходу нет.
Сидит добрый молодец во горестях
У ворогов злых в земляной тюрьме.
Он не год сидит и не два года,
А сидит он не мало как тридцать лет.
Поседела головушка у добра молодца,
Поседела бородушка у добра молодца,
А все ждет-то он выкупу-выручки.
Да далече родимая сторонушка,
Не видать ему вольную волюшку.

№ 24.

«Седина-ль моя сединушка»

(Акатуевская каторга)

Седина-ль моя сединушка!
Ты почто рано так появилася
В кудри черны мои вселилася?
Эх ты, молодость, моя молодость!
Прогулял я тебя, да все без толку.
Я не чаял тебя так измыкати.
Ах, измыкал я свою молодость
Не как люди живут, не в богачестве,
А в проклятом одиночестве.
Изошел-то я, добрый молодец,
С устья до вершинушки
Всю сибирскую сторонушку:
Не нашел я здесь, добрый молодец,
Ни батюшки, ни матушки.
Ни братцев-то — ясных соколов
Ни сестриц-то — белых лебедушек;
Вместо них нашел, добрый молодец,
Погоняночку *) — красну-девицу.

* Погоняночка – каторга.

№ 25.

«Из Кремля, Кремля»

(Карийская каторга)

(Приписывается, согласно преданию, Ваньке Каину)

Из Кремля, Кремля, крепка города,
От дворца, дворца белокамена,
Что до самой ли красной площади
Пролегала широкая дороженька.
Что по той ли по дороженьке
Как ведут казнить добра молодца,
Добра молодца, большого боярина,
Самого атамана стрелецкого.
За удалый разбой волокут его.
И идет ли молодец, не спотыкается,
Быстро на людей озирается,
Да и тут не покоряется.
Перед всех идет старшой палач,
В руках несет остер топор,
А за ним идут отец и мать,
Идет рядышком молода жена.
Они плачут, что река льется,
Возрыдают, как ручьи шумят,
Со слезами тут выговаривают:
«Ты дитя наше милое,
Покорись ты ради нас,
Принеси ты повинную,
И пожалуют тебя
Оставить буйну голову на могучих плечах!»
Каменеет сердце молодецкое,
Он противится, он упрямствует,

Отца, матери не слушается,
Над женой молодой не сжалится.
Привели его на площадь красную,
Отрубили буйну голову,
Что по самы могучи плеча.



№ 26.

Пісьня Кармелюка

(Кармелюк — знаменитый малороссийский разбойник)

(Нерчинск)

Повернувся я з Сібіру,
Нема міні доли,
А здаеться не в кайданах,
Еднак же в неволі.
Слідять мене в день і в ночі
На всяку годину:
Иіде міні подітися,
Я од журбичину.
Маю жінку, маю діти,
Хоч я их не бачу,
Як згадаю про іх муку,
То гірко заплачу.
Зібрав жвавих собі хлопців,
І що міні з того?
Засідаю при дорозі,
Жду подорожнього.
Чи хто іде, чи хто іде,
Часто дурно ждати,
А так треба в ліси жити,
Бо не маю хати.
З багатого часом візму
І убогому даю:
І так гроші поділивши,
Я гріха не маю.
Зовут мене розбійником,
Кажут, розбиваю.
Та я ж нікого не забив,
Бо сам душу маю!

Асесори, справники
Все мене ганяют.
Більш вони людей забили,
Чі я грошей маю!
Пішов би я в місто, в село,
Всюди мене знают.
Я би тільки показався,
То зараз піймают!
А як треба стерегится,
Треба в лісі жити;
Хоч здается світ великий
Нидеся подіти!



II.

ПЕСНИ БЕГЛЫХ И БРОДЯГ

№ 27.

Песня о Ермаке Тимофеевиче

(Бродяжеская — былинная)

Царь Кучум в степях горюет
По своем богатом царстве.
Много силы у Кучума,
Много всякого богатства:
Из монистов ожерелья,
Черный соболь и лисицы,
Золото и серебро!

А в больших его палатах
Казаки сидят за чарой,
Поминают Русь святую.
Впереди сидит начальник
И большой их воевода,
Первый в боях и советах
Тот Ермак ли Тимофеич.

Справа грозный воевода,
Ермака сподвижник смелый,
Атаман-Кольцо отважный
Буйну голову повесил.
Слева весел и разгулен
С полной чарою глубокой
Атаман-гроза сидит!

Речь возговорил Ермак Тимофеевич:
Ой вы, гой еси, братцы,
Атаманы молодцы!
Ой вы делайте лодочки-коломенки,
Забивайте вы кочеты еловые,
Накладайте бабайчики сосновые.

Мы поедемте, братцы, с Божьей помощью,
Мы пригрянемте, братцы, вверх по Иртышу-реке,
Перейдемте мы, братцы, горы крутые,
Доберемся до царства басурманского,
Завоюем мы царство Сибирское.



№ 28.

Похороны

Сегодня на рассвете
Товарища я похоронил.
Вблизи, где перекресток,
В сырой земле его я зарыл.

Не слышно было звона погребального,
Не слышно было пения печального;
Но навеки мать сыра-земля
Его приняла без попа, без свечей погребальных.

Я на его могилу
Березоньку младую сажал,
Товарищу бродяге
Счастливо оставаться желал.

Поминки бы справлял, да только не на что,
Да за помин попу отдать ведь нечего.
Но зарок дал: первый шкалик
Выпью я за новопреставленного раба Божия.

Кругом все было тихо…
Не плакали родные!
Не плакали родные о нем…

№ 29.

«На пути села родного»

(Тобольск)

На пути села родного
Колокольчик прозвенел,
Там и шел, прошел бродяга,
Бродяга, бездомный человек.

А навстречу друг-приятель
Слово ласково сказал:
Ты куда, куда, бродяга,
Куда так скоро спешишь?

Твоя маменька родная
Во сырой земле лежит,
А жена твоя младая
Под венцом с другим стоит.

На восходе ясна солнца
Там схватили молодца,
Резвы ножки заковали
В железные кандала —

Посадили вмиг бродягу
В белокаменный острог,
У острога двор обширный,
Все ворота на замках.

У ворот стоит смотритель,
Переписывать бродяг.
Ты скажи, скажи, бродяга,
Сколько душ ты погубил?

Я двенадцать душ зарезал,
На тринадцатой попал,
Ни о чем я не жалею,
Кроме жены молодой.



№ 30.

Милосердная

(Поется сибирскими бродягами, когда они ходят по селам и выпрашивают милостыню)

Милосердные наши батюшки,
Милосердные наши матушки,
Помогите нам несчастненьким,
Много горя повидевшим!

Выносите, родные, во имя Христа,
Кто что может — сюда,
Бедным странникам, побродяжникам
Помогите, родные.
Золотой венец вы получите
На том свете;
А в нынешнем поминать в тюрьмах
Будем мы вас, наши рòдные.

№ 31.

На заре было

(Уральская — сибирская)

На заре было, на зореньке,
На заре было на утренней,
Я коровушек, девица, доила,
Сквозь платочек молоко я цедила,
Процедивши, душу Ваню поила.

Напоивши, приговаривала:
Не женися, душа Ванюшка!
Если женишься, переменишься!
Если женишься, переменишься,
Потеряешь свою молодость
Промеж девушек-сиротинушек,
Промеж вдовушек, да молодушек.

Ой дубрава, мать зеленая моя!
По тебе ли я гуляла молода.
По тебе ли я гуляла молода,
А гуляла, не нагуливалась!..

№ 32.

Легенда о Колдуне

Вблизи Златоуста стоит средь Урала гора Великан.
Стоит веками, и на главе лежит всегда густой туман.
Зима придет, весна придет,
Родится кто, а кто умрет,
Гора же все стоит!
Вблизи Златоуста стоит средь Урала гора Великан.

Внутри горы той живет могучий, сильный, старый, злой
Колдун.
От нас, людишек, он день и ночь веками горе стережет.
Охотник смелый, берегись
И за козлом не подымись.
Беги, не оглянись!
Внутри горы той живет могучий, сильный, старый, злой
Колдун.

Давно когда-то, как рассердился старый, глухо заворчал.
Земля дрожала. Огни и камни он из горы вверх бросал.
Хотя с тех пор он крепко спит,
Но всякий от него бежит.
Проснется, не дай Бог!
Внутри горы той живет поныне сильный, старый, злой
Колдун.

№ 33.

Скучно мне, братцы

(Приисковая)

Скучно мне, братцы! Тяжкая доля
Жить одному мне в далекой, чужой стороне!
Дни молодые так и проходят.
Тяжко мне жить здесь, тужить здесь в чужой стороне!

Золото мыть целый день, не сгибаясь,
И подыматься чуть свет, чуть заря!
Скучно мне, братцы. Тяжкая доля,
Жить одному мне в далекой, чужой стороне.

Кабы найти мне да унести мне
Хоть одного самородка, да фарта [*]) мне нет!
Я побежал бы через Алтая!
Я побежал бы скорее оленя домой!
Девки в селе поглядеть бы сбежались —
Я в сапогах да в кафтане ходил,
Я в сапогах, чай, смазных да в кафтане ходил!
Кабы найти мне да унести мне
Хоть одного самородка, да фарта мне нет.

---

[*] Фарт – счастье, удача.

№ 34.

«Скажи, моя красавица»

(Очевидно, вариант на Кольцова)

Скажи, моя красавица,
Как с другом ты прощалася?
Прощалась я с ним весело:
Он плакал, я смеялася.

А он ко мне, бедняжечка,
Склонил на грудь головушку,
Склонил свою головушку
На правую, на левую
На грудь мою на белую.

И долго так лежал, молчал,
Смочил платок горючих слез;
А я, его неверная,
Слезам его не верила!

№ 35.

«Ой ты, тундра»

(Песнь беглого)

Ой ты, тундра бесконечная,
Ой, ой, ой! Ой, ой, ой!..
Ой тайга ты бесконечная,
Ой, ой, ой! Ой, ой, ой!..
С топором
На пролом
Я иду!
Халды!

Ветер воет, ветер стонет.
Тучи черные он гонит.
Ну реви да гони
Мне на смех!

Вот идет чалдон *) проклятый,
Буду с ним я тароватый,
Угожу, уложу
Наповал!

Люди все меня страшатся,
Пусть не пробуют соваться.
Сторонись, хоронись, берегись
Да держись!

---

* Чалдон – сибирский мужик.

До Рассеи доберуся,
Старым счетом потешуся
Там с лихвой
Я, как свой,
Да с лихвой
Заплачу!



№ 36.

«По снегу олень бежит»

(Песнь беглого)

По снегу олень бежит
Да копытами стучит.
Айда, айда, айда!

Вьюга зимняя метет
И морозец словно жжет.
Айда, айда, айда!

А якут на ободне
Правит словно как во сне.
Айда, айда, айда!

Дален мой, опасен путь,
А погоня тут как тут.
Гони, гони, гони!

Пули меткие свистят,
Где-то там вдали кричат:
Гони, гони, гони!

Содрогнулся вдруг олень,
Становился словно пень.
Айда, айда, айда!

На снегу олень лежит,
Пулей вражеской убит.
Горе, горе, горе!

Слышу близко голоса.
Кинутся все на меня!
Горе, горе, горе!

И меня назад везут,
Кандалами закуют!
Гони, гони, гони!



№ 37.

Плясовая

(Бродяжеская. Харчевня близ Ишь-Куль)

Дай-ка скину я бушлат
Да пущуся я плясать!
Нынче я сыт и пьян,
Вот потеха!
Девок мне сюда позвать,
Всех я буду угощать,
Хоть убей, но ей-ей
Потешуся!
Вот Матрена и Алена,
Вот Хавронья, вот и Соня,
Вот Дуняша и Наташа,
А вот Маша будет наша.
Дай-ка скину я бушлат
Да пущуся я плясать,
Нынче я сыт и пьян!
Эх!

У меня карман с дырой
Но у меня нож с собой!
Не мешай, не замай —
Расплачуся!
Заплачу чудошникам,
Заплачу и, девки, вам,
Коль меня до утра
Угождайте!

Ты, молодка, мне находка,
Если только тянешь водку!

У меня карман с дырой.
Но у меня нож с собой!
Не мешай, не замай.
Эх!

Что за притча? Вижу я:
Пляшут горы и леса!
Не беда, ну, ай да!
Попляшите!
Что-то светит в небеси,
Солнце это иль луна,
Мне давно все равно
Угощаю!
Мне бы только, чтоб свирели
Для меня всю ночь гудели,
Что за притча? Вижу я:
Пляшут горы и леса!
Не беда, ну, ай-да!
Эх!

№ 38.

Бродяга и урядник

(В тайге близ Ишь-Куль)

(Песнью этой развлекаются часто сибирские бродяги, причем один представляет урядника, а другой — бродягу)

Урядник. Ну, попался ты, бродяга!
Ты откуда? Отвечай!

Бродяга. Я сюда с ветров явился,
Прямо из лесу взялся,
И не мало удивился:
Вашу милость встретил я.

Урядн. А как звать тебя бродяга?
Твое имя! Отвечай!

Брод. Назовите, как хотите,
Имя я мово забыл,
Мне равно, како дадите:
Ваня, Петя иль Кирилл!

Урядн. А отец и мать кто были?
Ведь их были! Отвечай!

Брод. Как не быть? Тайга глухая
Вместо матери была,
А отца же, шалопая,
Не знавал я никогда!

Урядн. Где живешь? Чем промышляешь?
Есть бумага? Отвечай!

Круглый год в лесу живу я,
Там скитаюсь и кормлюсь,
Б р о д. За бумагу вот несу я
На спине бубновый туз!

У р я д н. А свой путь куда ты держишь?
Знать хочу я! Отвечай!

Рассказать вам мне трудненько
То, чего не знаю сам:
Б р о д. Пробираюсь помаленько
И скитаюсь по тюрьмам!

У р я д н. А не хочешь ли отведать
Свежих розог? Отвечай!

Моя шкура, так и знайте,
В выделке уже была!
Б р о д. Но уж если угощайте,
Дайте выпить мне сперва.

№ 39.

Калики-перехожие (Слепцы)

(Поется бродягами, когда они по сибирским деревням пробираются за милостиной. Слепота их часто притворная)

Из-под того ль креста, под того креста, креста да Леонидова,
Из-под того ль бел горюча камня, камня Латыря,
Ой-ли, люди православные.
Ой, подайте нам слепцам!

Со моря океан, через пески, пески сыпучие,
К Сафать-реке через леса ли те дремучие!
Ой-ли, люди православные,
Ой, подайте нам слепцам!

Путем-дорогой трудной шли мы к вам, отцы-богатыри,
Благую весть по матери-земли из края в край несли.
Ой, подайте нам слепцам,
Подайте, православные!

№ 40.

«Ваничка, приходи»

(Бродяжеская — заводская)

Ваничка, приходи ты ко мне вечерком!
Темно будет — ко мне пробирайся тайком!

Ты в окошко постучи!
Отца-матерь не буди!
Сама отворю
Да и поведу...

Мне колечко принеси!
Да гостинца захвати!
Будем мы болтать
Да и пировать.

Ты на мне зато женись,
Или сразу отвяжись,
Не обманывай,
Да не забывай!

Всем, что есть у меня, я тебя угощу!
Никуда я тебя до зари не пущу.

№ 41.

«Грозно и пенясь, катаются волны»

(Байкал)

Грозно и пенясь, катаются волны.
Сердится гневом объятый широкий Байкал.
Зги не видать. От сверкающей молньи
Бедный бродяга запрятался в страхе меж скал.

Чайки в смятеньи и с криком несутся,
А ели, как в страхе, дрожат.

Чудится в буре мне голос знакомый,
Будто мне что-то давнишнее хочет сказать.
Тень надвигается, бурей несомая...
Сколько уж лет он пощады не хочет мне дать.

Буря, несися; бушуй, непогода!
Не вас я так крепко страшусь!

Тень надвигается бурей весомая,
Гонится всюду со мной — лишь ее я боюсь!

№ 42.

«Славное море, священный Байкал»

(Каторжанин Тобольской каторги Мурайченко назвал эту песню: «Песнь обер-бродяги»)

Славное море, священный Байкал!
        Славный корабль—омулёвая бочка! *)
Ну, Баргузин, пошевеливай вал,
        Плыть молодцу недалечко.
Долго я звонкие цепи носил,
        Душно мне было в горах Акатуя!
Старый товарищ бежать пособил:
        Ожил я, волю почуя.
Шилка и Нерчинск не страшны теперь,
        Горная стража меня не видала,
В дебрях не тронул прожорливый зверь,
        Пуля стрелка миновала.
Шел я и в ночь и средь белого дня,
        Вкруг городов я посматривал зорко.
Хлебом кормили крестьянки меня,
        Парни снабжали махоркой.
Весело я на сосновом бревне
        Плыть чрез глубокие реки пускался.
Мелкие речки встречалися мне —
        Вброд я чрез них преправлялся.
У моря струсил немного беглец:
        Берег крутой, а и нет ни корыта.
Шел я Карчой и дошел, наконец,
        К бочке, дресвою замытой.

---

* Омулей – небольшие рыбки Байкальского озера.

Нечего думать — Бог счастье послал:
        В этой посуде и бык не потонет;
Труса достанет и на судне вал,
        Смелого в бочке не тронет.
Тесно в ней жить беднякам омулям —
        Мелкие рыбки, утешьтесь словами:
Раз побывать в Акатуе бы вам, —
        В бочку полезли бы сами.
Славное море, священный Байкал,
        Славный корабль—омулёвая бочка!
Гей, Баргузин, пошевеливай вал,
        Плыть молодцу недалечко.



№ 43.

«В пустынных степях Забайкалья»

(Тобольская)

В пустынных степях Забайкалья,
Где золото роют в горах,
Бродяга, судьбу проклиная,
Тащится с сумою в руках.

На ём рубашонка худая
Со множеством разных заплат,
Шапчонка на ём арестантска
И серый тюремный бушлат.

Идет он густою тайгою,
Где пташки одни лишь поют...
Котел его сбоку тревожит,
Сухарики с ложкою бьют.

Бродяга к Байкалу подходит,
Рыбацкую лодку берет
И грустную песню заводит,
Про родину-мать он поет.

Бродяга Байкал переходит, —
Навстречу родимая мать...
«Ах, здравствуй, ах, здравствуй, мамаша!
Живут ли отец мой и брат?»

«Отец твой давно уж в могиле,
Могильной землею зарыт,
А брат твой давно уж в Сибири,
Давно кандалами звенит».

№ 44.

«Вслед за буйными ветрами»

(Якутская область. Старинная).

Вслед за буйными ветрами
Бог — защитник, мой покров.
В тундрах нет зеленой тени,
Нет ни солнца ни зари.
Вдруг являются, как тени,
По утесам дикари!
От Ангары к устью моря
Вижу дикие скалы...
Вдруг являются, как тени,
По утесам дикари...
Помиритесь вы со мною!
Я — ваш брат, боюсь людей!

№ 45.

«Как из Острова»

(В тайге близ Хайгара)

Как из Острова *) из проклятого
Я убег, утек через море бурливое...
Да нет силушки, да нет моченьки,
Было мне остаться и сгинуть так, пропадать.

Нет там солнышка, нет там звездочек...
А кровавым светом на небе сиянье горит...
И не слышится песня пташечки,
Только ветер воет и море ревмя ревет!

Разорвал я цепи железные!
Разломал засовы чугунные,
Через море, через горы я бежал!

Вьюги зимние я не боюсь!
Сдохнуть с голоду я не страшусь!
Я тайгою до Амура доберусь!

И не сяду я
За решетки вновь,
Я свободу людям
Своей ценой продам!

---

* Из Сахалина.

№ 46.

«Обойдем мы кругом моря»

(Байкал)

Обойдем мы кругом моря,
Половину бросим горя;
Как придем мы во Култук [1]) —
Под окошечко стук-стук.
Мы развяжем торботейки [2]),
Постреляем саватейки [3]).
Подают нам хлеба-соли,
Подают и параболи [4]).
Хлеба-соли наберем,
В баньку ночевать пойдем.
Тут приходят к нам старые
И ребята молодые
Слушать Франца-Венцеяна
Про Бову и Еруслана;
Проводят ночь с нами рядом,
Хотя пот течет с них градом.
Сибиряк развесил губы
На полке в бараньей шубе.

[1] Култук – этапное место.
[2] Торботейка – сумка.
[3] Саватейка – сибирская мучная лепешка.
[4] Параболь – на языке бродяг – монета.

№ 47.

«Идет он усталый»

(Этапная)

Идет он усталый, и цепи гремят.
Закованы руки и ноги.
Покойный и грустный он взгляд устремил
На дальней пустынной дороге.
Полдневное солнце бесщадно палит,
Дышать ему трудно от боли.
И каплет по капле горячая кровь
Из ран, растравленных цепями...

№ 48.

«Вот и костер потухает»

(В тундре)

Вот и костер потухает.
Ночь уж подходит к концу.
Звезды бледнее мерцают,
Птички запели в лесу.

Старый товарищ, вставай-ка!
В путь нам пора уж давно!
Хлебушка корку давай-ка
Да и бутыль заодно.

Надо с тобой нам пытаться
Лесом подальше убраться.

Уж на исходе махорка
Да и бутылка пуста!
Хлебушка нет даже корки.
Будь же ты, жизнь, проклята!

Кто-то нам бродит навстречу?
Может чалдон аль купец?
Эх-ма! Без дальние речи
Встречу ножом — и конец!

Эй, подымайся бродяга,
Эй, подымайся миляга!
Живо вставай!

Вот и костер потухает.
Ночь уж подходит к концу.
Звезды бледнее мерцают.
Птички запели в лесу.

№ 49.

«Степь, родная ты моя»

(Этап Кутарбинка)

Степь, родная ты моя,
Без тебя тоскую я!
В душной избе не уживу,
Сердце рвется в даль!

По горам и по лесам
Побродить по целым дням!
Ложе я в лесу мохом постелю
И как царь я сплю!

Вся страна кругом — моя!
Горы, тундры и тайга!
В страхе все живут:
От меня бегут
Или дань несут.
Я приму и пойду!

Я бродягой уродился
И бродягой я умру.
Я в Рассеи не ужился —
Волей пуще всего дорожу.

№ 50.

«Там за синими морями»

(Новониколаевск)

Там за синими морями.
За Байкалом далеко,
Там живет моя зазноба —
Не видал ее давно.
Мне бы, братцы, вольной птицей
По ветру туда нестись...
Но без крыльев не подняться
И без них не полететь!

Там в Рассеи всем живется
И вольготно и тепло,
О безлюдьи нет помину,
За селом стоит село!
Хлеб родится всем там вволю,
Солнце светит круглый год.
Но туда нам не добраться,
Там для нас местечка нет!

Златоглавая столица,
Белокаменна Москва!
Русским городам царица
И праматерь им она.
Пушку-царь видать там, братцы,
Колокол Ивана тож.
Но туда нам не добраться —
Далека для нас Москва.

№ 51.

«В тайге глухой»

(Петропавловск)

В тайге глухой одиноко могила стоит.
Ели суровые, кедры седые глядят!
Тихо кругом
В Тайге глухой...

Цветики Божии нежно и робко цветут.
Жалобно птички день целый и ночку поют.
Тихо кругом
В Тайге глухой...

Добрые люди, молитеся за упокой —
За упокой погребенного в тайге глухой!
Тихо кругом
В Тайге глухой...

Путник усталый, присядь над могилою тут:
Тихо молись! И тебя, может, ждет здесь приют.
Тихо кругом
В Тайге глухой...

№ 52.

Слушайте-ка, девки

(Заводская)

По Урале, по реке, коломенка скользит.
Парочка, я видела, в нем рядышком сидит.
      Видела сама!
Как с Тагили Соничку узнала я сейчас,
Оберштегер рядом с ней и не спускает глаз.
      Чудо, чудеса!
Как они милуются, целуются вдвоем,
Будто им на целом свете ничто нипочем.
      Видела сама!
Солнце уже село, как пристали к берегу;
Оба прибежали и присели на лугу.
      Видела сама!
Что тут увидала, не могу вам рассказать.
За кустом я спряталась, чтоб лучше увидать.
      Чудо, чудеса!
А как потемнело, убежала я домой.
Вот подите, девки, Оберштегер вот какой!
      Видела сама!
А вчера уж Соньку муж за косу потаскал
Хомутом по белому плечу уже ласкал.
      Видела сама!
Как она завыла, не могу вам рассказать.
За избою спряталась, чтоб лучше увидать.
      Чудо, чудеса.
И сама от страха убежала я домой.
Вот подите девки, Сонькин муж он вот какой!
      Видела сама!

№ 53.

«Сказывают люди»

(Бродяжеская переселенческая)

Сказывают люди, есть страна такая,
Где земля не мерзнет, где всегда тепло.
Где-то за Уралом, или за Байкалом!
Теплое есть море, не покрыто льдом.
Там на быстрых санках не придется нам лететь,
Или на сиянье наше северно глядеть!
Так я остаюся здесь в краю мороза,
Здесь в краю мороза, в Сибири родном.

Люди там богато, да и таровато
В каменных доминах счастливо живут.
Жирно поедают, сладко выпивают,
Без мехов гуляют целый год в тепле.

Люди там грызутся, да и суетются
И передерутся все из-за рубля.
Нет у них пельменя, да и нет оленя;
Там житье плохое, хуже, чем у нас.
То ли дело здесь, в Сибири: ширь здесь и простор.
Тундра необъятная, куда не кинешь взор!
Так я остаюся здесь в краю мороза,
Здесь в краю мороза, в Сибири родном.

№ 54.

«Дети мы одной отчизны»

(Нерчинск)

Дети мы одной отчизны
Дальней, прекрасной!
Сквозь вьюги зимние
Все нам мерещится
Край родной...

Наши предки за отчизну
Долго страдали.
И не изгладится
Память о них у нас...

Но мы верим, уповаем,
Будет иное:
Воспрянет родина,
Будет счастливая,
Будет иное...

№ 55.

«Лес шумит»

(Варнацская песня)

Лес шумит, гудит и волнуется,
Старые кедры в буре все валятся.
Любо нам под шумом бури
В темном во лесу ходить.
Чу, проснется Мишка бурый,
Встрепенется, зарычит.

Выходи, лохматый друг!
Любо нам, детям Ермака,
Когда зверь на нас бежит,
Среди бури, среди мрака
Нам медведя уложить.

Варнаки *) все удальцы
Нам не страшен темный лес.
А с медведем повстречаться
Любо каждому из нас,
В одиночке с ним сражаться
Любо каждому из нас.

* Варнак – беглый бродяга.

№ 56.

«Как я землю вспашу»

(Переселенческая)

Как я землю вспашу
Да засею зерном,
На полях рожь пожну
Да в снопы повяжу.

Во снопы повяжу,
Во скирды положу,
С поля выволочу,
Дома вымолочу.

Драни я надеру,
Пива я накурю.
Как я пива накурю,
Я гостей соберу.

Станут гости есть и пить,
Станут они кушати,
Станут здравствовать,
Меня славити!

№ 57.

«Лето красное проходит»

(Бродяжеская)

Лето красное проходит,
Теплые минуют дни.
И уже не за горами
Осень, холод, темнота.
Лето красное проходит.

Травка вся уж пожелтела
И завяли все цветы.
Коргана *) уж пролетела,
Воротится лишь весной...
Травка вся уж пожелтела.

Белый саван все покроет,
Засыпает вся земля.
Как Иртыш широкий станет
Рыбка засыпает до весны...
Белый саван все покроет...

* Коргана – сибирская птица.

С. В. Максимов

ТЮРЕМНЫЕ ПЕСНИ

Сорок восемь тюремных сибирских и русских песен (старинных и новых) с вариантами и объяснениями. — Творцы песен; Ванька Каин. — Разбойник Гусев. — Малороссийский разбойник Кармелюк. — Песня о правеже. — Местные сибирские пииты. — Ученая песня. — Песня Кармелюка. — Песни Видорта. — Ворожбюк.

Подробности быта ссыльных, особенно же частности тюремного быта, привели нас к тем развлечениям, которые измышлены заключенниками на досуге, чтобы подцветить праздное безделье и сократить досадное и скучное время. В числе тюремных развлечений не последнее место принадлежит — как и быть следует — песням. Несмотря на то, что строгие тюремные правила, запрещая «всякого рода резвости, произношение проклятий, божбы, укоров друг другу, своевольства, ссоры, брань, разговоры, хохот» и т. п., преследуют, между прочим, и песни, — они все-таки не перестают служить свою легкую и веселую службу. Хотя песенников приказано смотрителям «отделять от других (не поющих) в особое помещение (карцер), определяя самую умеренную и меньше других пищу, от одного до шести дней включительно на хлеб и на воду», все-таки от этих красивых на бумаге и слабых на деле предписаний песенники не замолчали. Люди и в заключении продолжают петь и веселиться. Песни сберeглись в тюрьмах даже в том самом виде и форме, что мы, не обинуясь, имеем право назвать их собственно-тюремными, как исключительно воспевающие положение человека в той неволе, которая называется «каменною тюрьмою». Скажем даже более: тюремных песен скопилось так много, что нам представляется возможность составить исключительно из них целый сборник (свыше сорока нумеров), при этом большею частью из известных

только сибирским ссыльным. Впрочем, большая часть песен принесена из России готовыми, в Сибири они и не улучшались даже, напротив, некоторые, по сравнению с подобными же русскими, являются в неполном виде и нередко искаженными от позднейших приставок и перестановок. В России эти произведения народного творчества являются полнее и законченнее, а в Сибири случается, что одно цельное произведение дробится на части и каждая часть является самостоятельною, но при этом замаскирована до того, что как будто сама по себе представляет самобытное целое. Бывает и так, что мотивы одной перенесены в другую, отчего кажется иногда, что известная песня еще не приняла округленной и законченной формы, а все еще складывается, ищет подходящих образов, вполне удовлетворительных. Некоторые песни людская забывчивость урезала и обезличила так, что они кажутся и бедными по содержанию, и несовершенными по форме. В Сибири уцелели и такие, которые или забыты в России, или ушли в состав других песен, и наоборот.

В тюремных песнях два сорта: старинные и новейшие. Помещая последние для сопоставления и сравнения с настоящими и неподдельными произведениями самобытного народного творчества (каковы песни древнейшего происхождения), из новейших мы выбрали только некоторые более распространенные. Старинные мы включаем в сборник (для них собственно и предпринятый) с тем убеждением, что они начинают исчезать, настойчиво вытесняемые деланными искусственными песнями. Мы едва ли не живем именно в то самое время, когда перевес борьбы и победы склоняется на сторону последних [*]).

Лучшие тюремные песни (чем песня старше, древнее, тем она свежее и образнее; чем ближе к нам ее происхождение, тем содержание ее скуднее, и форма не представляет возможности желать худшей) выходят из цикла песен разбойничьих. Сродство и соотношение с ними настолько же сильно и неразрывно, насколько и самая судьба песенного героя

---

[*] В приложении этом не повторяем тех песен, которые свободно улеглись в тексте нашего сочинения.

тесно связана с «каменной тюрьмой — с наказаньицем». Насколько древни похождения удалых добрых молодцев повольников, ушкуйников, воров-разбойничков, настолько же стародавни и складные сказания об их похождениях, которые, в свою очередь, отзываются такою же стариною, как и первоначальная история славной Волги, добытой руками этих гулящих людей и ими же воспетой и прославленной. Жизнь широкая и вольная, преисполненная всякого рода борьбы и бесчисленными тревогами, вызвала народное творчество в том поэтическом роде, подобного которому нет уже ни у одного из других племен, населяющих землю. Отдел разбойничьих песен про удалую жизнь и преследования — один из самых поэтических и свежих. Там, где кончаются вольные похождения, и запевает песня о неволе и возмездии за удалые, но незаконные походы, начинается отдел песен, принятых в тюрьмах, в них возлелеянных, украшенных и облюбленных, — словом, отдел песен тюремных. Оттого они и стали таковыми, что в тюрьме кончаются последние вздохи героев и сидят подпевалы и запевалы, рядовые песенники — хористы и сами голосистые составители или авторы песен. От самых древних времен сибирских тюрем готовная и сильная передача о делах удальцов в последовательном своем течении не прерывалась, в особенности с тех пор, как перестали атаманов водить ко вешанию и рубить их буйны головы по самые могутные плечи. Непосредственно с Волги и из самых первых рук завещаны сибирским тюрьмам русские тюремные песни, из которых многие получены нами не из первых рук (из тюрем), а может быть уже и из десятых (из старожитных селений, от свободных сибирских людей — старожилов). Завещание, таким образом, возымело широкое приложение, и от прямых наследников имущество перешло в боковые линии и, наконец, сделалось общим достоянием, как все в Сибири: леса, тайги, луга и степи. Посеянное укрепилось и устояло два столетия в цельном и несокрушимом виде. Впрочем, время и в Сибири сделало то же, что и в России (с которою первая находится в непрерывном и сильном общении): между всходами чисто-почвенными и акклиматизированными выросли плевелы, и выросли в таком оби-

лии, что грозят серьезною опасностью заглушить и последние остатки самостоятельных и отечественных растений.

Связь и последовательность не теряют своей силы; иноземное влияние, особенно долговременное (как сказал П. В. Киреевский), необходимо проникает во все отношения внутреннего быта, глубоко уничтожает и искажает народный дух. «Царствование Петрово можно назвать границею настоящих народных исторических песен, которые, после Петра, продолжали возникать только среди волжского и донского казачества». Позднейшие песни о позднейших походах и войнах «разительно отличаются от всех настоящих народных песен; они лишены всякого поэтического достоинства и заслуживают внимания только как любопытные памятники времени». Песни, приписываемые преданием удалым товарищам Стеньки Разина и ему самому и, стало быть, петые до Петра, оживлены свежею мыслью и блестят поэтическим колоритом; но уже во многом лишены того и другого те, которые составлены деятелем в начале прошлого столетия, известным в народе под именем Ваньки Каина. В конце же прошлого столетия выросли и появились уже во множестве те мотивы, на которых ясны следы крутой ломки и крупных народных переворотов. На эти произведения народного творчества намело пыли и накипело плесени городов с их фабриками и заводами, трактирами и барскими передними. Живой памяти народной послужились печатные песенники, особенно сильно пущенные в народ в начале нынешнего столетия, богатого подобного рода сборниками даже в многотомных изданиях. Уцелела коренная народная песня только в захолустьях, не тронутых городским чужеземным влиянием, и еще в 30-х годах нынешнего столетия из южнорусского племени (из малороссийского народа) вышел автор (Кармелюк) тюремной песни, в которой еще не утрачена сила народного творчества, хотя уже и видны некоторые следы постороннего влияния. Само собою разумеется, что потребители из ссыльных, с прекращением доставки отечественного материала, поневоле должны были довольствоваться издалека привозными продуктами, которые и ценою ниже, и достоинством хуже. Крепкие льняные

изделия домотканого производства и на этот раз уступили место гнилым или непрочным бумажным товарам машинного дела, набивным ситцам московского фабричного досужества. В этом отношении закон последовательности не утрачивает своей живой и деятельной силы даже и в том, что творцами песен и в наши дни остаются те же самые удалые молодцы, разбойники.

Замечено близко стоявшими к тюремным героям и жившими с ними долгое время бок о бок, что эти угрюмые, обидчивые и завистливые люди, в то же время, в высшей степени тщеславные, хвастливые, слишком уверенные в собственных внутренних силах и сознательно любующиеся личным характером. Черты эти становятся тем крупнее и очевиднее, чем богаче известный герой похождениями и заслугами, приведшими его на каторгу. Нет ничего удивительного в том, что одаренный поэтическою натурою старался сам похвастать своими похождениями и уложить их в складном песенном произведении, предоставляя товарищам своим только два права: добавить забытое и недосказанное и довести сказание до сведения людей темных и несведущих. Вот почему, исходя из таких наблюдений, народ приписывает разбойничьи песни самим разбойничьим атаманам. Так, народное предание, нимало не ошибаясь, уверяет в том, что Стенька Разин, сидя в тюрьме и дожидаясь лютой казни, сложил песню и теперь повсюду известную в виде завещания его товарищам, которых просит он «схоронить его между трех дорог: меж московской, астраханской, славной киевской». Удалым шайкам Степана Тимофеевича то же народное предание приписывает и те песни, которые унесены в сибирские тюрьмы: «Ты возмой, возмой, туча грозная» (имеющая два начала: «Не рябинушка со березонькой советается» и «Ах, туманы, вы туманушки, вы туманы мои непроглядные»); «Из-за леса, леса темного, из-за гор, гор высоких» *).

* В России Разиновыми песнями называются: 1) «Помутился славный тихий Дон», 2) «Из славного из устьица синь-моря», 3) «У нас-то было, братцы, на тихом Дону», 4) «Уж как по морю синему, по синему по

Ванька Каин, в лице которого народ привык понимать окаянного грабителя, но который, по собственному его признанию, был и вором, и разбойником, и сыщиком, в то же время был одним из самых тщеславных людей этого полета. В собственном признании его, данном в русской крепости Рогервике (теперь Балтийский порт), настолько сильно стремление его к хвастовству и невоздержно желание покрасоваться и похождениями, и подвигами перед судьями, и в крайней беде, что Ивана Осипова Каина можно считать прототипом и народное предание особенно не грешит, приписывая ему десятка четыре песен. Между этими песнями «Вниз по матушке по Волге, от крутых красных бережков, разыгралася погодушка верховая, волновая», известная всей России, приписывается всюду этому разбойнику-песельнику. Из Каиновых песен в сибирские тюрьмы пробрались две: «Не шуми-ка ты, мать, зеленая дубровушка» и «Усы» *); между русскими тюремными приписываются ему же: «Из Кремля-Кремля крепка города», «Не былинушка в чистом поле зашаталася» и проч. **). Остроумный на словах, находчивый

Хвалынскому», 5) «Уж вы, горы, мои горы! прикажите-ка вы, горы, под собой нам постоять», 6) «Как во славном городе, во Астрахани, очутился-проявился тут незнамый человек», и проч.

* «Усы», несомненно, воспевают подвиги известного разбойника Васьки Уса.

** Каиновыми песнями, из которых большая часть вращается около разбоев и тюрем, полагаются, между прочим, из известных след.: «Пал туман на сине море», «Не бушуйте вы, ветры буйные, не шумите вы, леса темные», «Ты, рябинушка, ты, кудрявая», «Скучно, матушка, весною жить одной». Впрочем, с большим вероятием можно принимать за Каиновы песни те, которые отличаются более искусственным складом, отсутствием поэтического элемента и стремлением к тому остроумию, которое составляло его отличительную черту и в жизни, и в следственных показаниях. Таковы: 1) «Во славном было городе во Нижнем», 2) «В Архангельском во граде ходят девушки в наряде», 3) «Еще что вы, братцы, призадумались?», 4) «Чарочки по столику похаживают», 5) «Девушки вино курили», 6) «Вещевало мое сердце, вещевало», 7) «Весел я, весел сегодняшний день». С фабричным людом Каин (к тому же еще сам беглый лакей) хорошо был знаком по обязанности сыщика. Для вящего

и ловкий на деле, умевший перенести страсть к иносказательным выражениям и искусственному воровскому языку и в песни свои, Иван Осипов Каин рассказ о своих похождениях изложил письменно и пустил в народ. Изуродованная переписчиками тетрадка попалась в руки некоего «жителя города Москвы Матвея Комарова», который, по своему разумению, передал рассказ и издал его в печати три раза (в 1773, 1778, 1784 годах). В 1755 году над Каином снаряжена была следственная комиссия при Сыскном приказе, и издатель его песен и похождений (Комаров) видал там и слыхал его лично. «Каин, по благодеянию секретарскому, содержался в Сыскном приказе не так, как прочие колодники, и, имея на ногах кандалы, ходил по двору и часто прихаживал в передние Сыскного приказа и тут с подьячими и бывшими иногда дворянами вольно разговаривал. Рассказывал он свои похождения бывшему тогда в том приказе дворянину Фед. Фомину Левшину». Будучи сыщиком, он проворовался на сыскных делах до того, что уворовал даже чужую жену. Его судили и присудили выбить кнутом, положить клейма, вырвать ноздри и сослать в каторжные работы в Рогервик, а оттуда в Сибирь.

Сибирь с его легкой руки не переставала, по образцам и примерам, давать из удалых разбойников авторов тюремных песен. Страшный не так давно для целого Забайкалья разбойник Горкин не менее того известен был как отличный песельник и юмористический рассказчик. Живя по окончании срока каторжных работ на поселении, он ушел весь в страсть к лошадям и на своих рысаках возил откупных поверенных, потешая их своими лихими песнями и необычайно быстрою ездою. С пишущим эти строки он охотно поделился рассказами о своих похождениях. Затем последние годы он приплясывал и припевал на потеху деревенских

успеха по должности он получил право устроить в Зарядье в Москве веселое заведение с бильярдом, картами и зернью, получившее в Москве огромную известность. К нему валил, по новости дела, всякий праздный народ, а особенно суконщики. Фабричные рекомендовали сами себя для услуг, и он давал им пристанище, иногда держал человек по 30.

ребят, шатаясь по Забайкалью в звании нищего. Разбойник Гусев, бежавший из Сибири в Россию и ограбивший собор в Саратове, в саратовском тюремном замке сложил песню: «Мы заочно, братцы, распростились с белой каменной тюрьмой», которая ушла и в Сибирь. Сам Гусев, несколько раз бегавший оттуда, вновь, после саратовского грабежа, уже не пошел: его сгубило то же хвастовство разбойничьего закала и та же страсть к остроте и красному слову, которыми отличались и предшественники его. Когда он приведен был на саратовскую торговую площадь и палач хотел привязывать его ремнями к кобыле, Гусев, обращаясь к скамейке, закричал на весь собравшийся народ: «Эх, кобылка, кобылка! Вывозила ты меня не один раз, ну-ка, вывози опять!» — «Нет, Ив. Вас, — заметил палач, — теперь она тебя не вывезет!» И сдержал слово: Гусева сняли с эшафота мертвым.

Известный малороссийский разбойник Кармелюк был также поэтом и автором не разбойничьих, но элегических песен, сложенных на родном ему языке. Он «шалил» на Волыни, долго не давался в руки властей и, наконец, убит был своею коханкою, которая подкуплена была соседним помещиком [*].

---

[*] На Волыни об этом событии рассказывает народная песня:

Ой ты, Кармелюк, по свету ходишь,
Не едну девчину с ума сводишь,
Не едну девчину, не одну вдову
Белолицу, румяну ще-й чернoброву!
Ой ты, девчина, ты чорнявая,
Ой де-сь ты мине приваду[1] дала?
Бо дай ты так знав з сеней до хаты,
А як знаю чим чаровати:
Ой у мене чары очевьки кари,
А в мене отрута[2] в городе рута!
Пишов Кармелюк до кумы в госте,
Покинув платья в лесе при мосте:
– Ой, кумцю, кумцю, посвоимося[3],
– Дай горилочки да напиемося.
«Ой раду, раду, ходим до саду,

В сибирских тюрьмах также сохранилась одна хорошая песня его, без сомнения, оставленная самим Кармелюком, так как он в Сибири был и отсюда убежал разбойничать на Волыни. На Волыни сохранилась о Кармелюке такая песня в народе:

Повернувся я з Сибиру
Не ма мине доли.
А здаеться, не в кайданах,
Еднак же в неволе и т. д. (См. ниже.)

Нарвемо грушок повен хвартушок[4],
Сядемо соби под яблонею,
Будем пити мед за горелкою,
Прийде чорнява, пидем гуляти!»
– Скажи ж, дивчина, як тебе звати,
– Що б я потрапив[5] до твоей хаты!
«А мене звати Магдалиною,
А моя хата над долиною,
А моя хата снопками шита[6],
Прийди Кармелюк, хочь буду бита,
Хочь буду бита – знаю за кого:
Пристало серденько мое до твого!»
Ой сам я дався з света сгубити
Що я и сказав куле[7] святити.
Сама ж ты дала до двора знати,
Шоб мене вбили у твоей хате!

[1]) Приманку, приворотное; [2]) отрава; [3]) будем свои; [4]) передник; [5]) нашел путь; [6]) обложена связками (обыкновенно коноплями); 7) пули. Стихи 6-11 разговор с девушкой; Кармелюк идет к куме, у которой были тайные свидания его с девушкой; ст. 14-21 – разговор с кумою; ст. 22-29 – разговор с девушкою в доме; ст. 30-33 – песня от лица Кармелюка, жившего, по народному преданию, в начале нынешнего столетия. По образцам прошлых веков и по обычаям времен колиевщины, песня эта также намекает на гайдамака-характерника, знавшегося с нечистою силою и умевшего зачаровывать направленные на него пули. Освящать пули в противодействие чарам было в обычае у казаков времен колиевщины.

Нам самим лично удалось видеть на Карийских золотых промыслах ссыльнокаторжного Мокеева, сосланного за грабеж и отличавшего в себе несомненно поэтическую натуру, высказавшуюся и в жизни на воле, и в жизни на каторге и даже выразившуюся в порывах к стихотворству. Ему заказана была песня на отправление эскадры для приобретения Амура, и муза Мокеева, вдохновляемая шилкинскими картинами и руководимая аккомпанементом торбана, бубна, тарелок и треугольника, высказалась в большой песне, которая начинается так:

Как за Шилкой за рекой,
В деревушке грязной,
Собрался народ простой,
И народ все разный.

а кончается:

Вдруг раздался песен хор,
Пушек залп раздался,
И по Шилке, между гор,
Флот сибирский мчался.

Песне этой не удалось удержаться у казаков (придумавших про Амур иную песню, совсем противоположного смысла и настоящего склада), но нет сомнения в том, что Мокееву немудрено было соблазнить каторжных теми своими песнями, которыми приладился он к общему настроению арестантского духа, т. е. когда его муза снисходила до сырых казарм и тяжелых работ или хотя бы даже и до купоросных щей. Арестанты, как мы видели, невзыскательны и в ущерб настоящим народным песням привыкли к тем, которые нуждаются в торбане и трескотне тарелок; вкус давно извращен и поэтическое чутье совсем утрачено.

Вот для примера песня, пользующаяся особенною любовью тюремных сидельцев не только в России, но и в Сибири, песня, распространенность которой равносильна самым известным и любимым старинным русским песням. Столич-

ные песельники в публичных садах и на народных гуляниях, известные под странным именем «русских певцов», вместе с цыганами представляют тот источник, из которого истекает вся порча и безвкусие. Здесь же получил образование и автор прилагаемой песни, и здесь же выучились находить вдохновение новейшие творцы псевдонародных русских песен. Такова песня в целом виде и с более замечательными вариантами:

Ни в Москве, ни за Москвой,
Меж Бутырской и Тверской,
Там стоят четыре башни,
Посредине Божий храм.
(Или по-московскому и вернее:
В средине большой дом.)
Где крест на крест калидоры
И народ сидит все воры, —
(Или: сидит в тоске).
Сидел ворон на березе;
(Или: Рыскал воин на войне),
Кричит ворон не к добру: (или: на войну)
«Пропадать тебе, мальчишке,
Здесь в проклятой стороне,
Ты зачем, бедный мальчишка,
В свою сторону бежал? *)
Никого ты не спросился,
Кроме сердца своего **).

---

* В России поют:
Своей родины бежал.

** В России прибавка:
На кого же ты покинул
Мать родную и отца?
(Или: Ты спокинул, ты оставил
Ты старушку свою мать,
Отца свово старика!)

Прежде жил ты, веселился,
Как имел свой капитал.
С товарищами поводился,
Капитал свой промотал.
Капиталу не сыстало —
Во неволю жить попал,
Во такую во неволю:
В белый каменный острог.
Во неволе сидеть трудно.
(Или: Хороша наша неволя, да —)
(Но) кто знает про нее:
Посадили нас на неделю —
Мы сидели круглый год.
За тремя мы за стенами
Не видали светлый день.
Но не бось: Творец-Господь с нами,
(Или: Бог-Творец один Он с нами),
Часты звезды нам в ночи сияли;
Мы и тут зарю видали,
Мы и тут (или: Лих мы здесь) не пропадем!
Часто звезды потухали,
Заря бела занялася,
Барабан зорю пробил, —
Барабанушко пробивал,

– «Уже некому мальчишку
Меня было научить,
А теперича мальчишку,
Меня поздно научать!
Уж и жил я, веселился,
Но имел свой капитал;
Как и этот капитал
Весь я пропил, прогулял
(Дальше: «во неволю жить» и проч.)
Или: «Жил бы, жил бы, веселился,
Капиталец свой имел;
Капиталец миновался,
Во неволю жить попал.

Клюшник двери отпирает
Офицер *) с требой идет,
Всех на имя нас зовет **).
«Одевайтесь, ребятенки,
В свои серы чапаны!
Вы берите сумочки, котомки,

---

* Вм. о ф и ц е р а – п и с а р ь с т р е б ы е м идет, нам указы выдает, собираться скоро в поход.

** В России эта трагическая сцена размалевана иначе:

Свет небесный во сияньи:
Барабаны зорю бьют,
Барабан зорю пробьет,
Вундер двери отворяет:
Писарь с требою идет;
Он по требованию кличет,
Нам к суду идти велят.
Взяли сумки, помолились
И отправились себе...
Нас в карету посадили
И с конвоем повезли...
Или: Взяли сумки – подхватили
И в поход скоро пошли,
Торбан, торбан покатился.
Что за чудна за карета!
Сдивовался весь народ,
Что кругом конвой идет.
У родных сердца забьются,
Слезно плакали об нас,
Слезно плакали об нас,
Отправляли в Сибирь нас.

Здесь и конец – как мы выше сказали – российскому изделию. Сибирские арестанты не задумались над описанием дальнейшей картины и изобразили ее в последнем придатке к песне. По словам сибирских арестантов, песня эта сочинена в конце 40-х годов нынешнего столетия, и основная канва ее приписывается, как сказано нами, разбойнику Гусеву.

Вы сходите сверху вниз
Говорите все одну речь».
Что за шутова коляска
Показалась в городу?
Коней пару запрягают,
Подают ее сейчас, —
Подают эту коляску
Ко парадному крыльцу:
Сажают бедного мальчишку
К эшафотному столбу.
Палач Федька разбежался,
Меня за руки берет;
Становит меня, мальчишку,
У траурного столба.
Велят мне, бедному мальчишке,
На восход солнца молиться,
Со всем миром распроститься.
Палач Федька разбежался —
Рубашонку разорвал;
На машину меня клали,
Руки, ноги привязали
Сыромятныим ремнем;
Берет Федька кнутья в руки,
Закричал: «Брат, берегись!»
Он ударил в первый раз —
Полились слезы из глаз.
Он ударил другой раз —
Закричал я: «Помилуй нас!»

Вот какой песне в наше время удалось попасть во вкус потребителей настолько, что нам привелось заметить несколько сортов ее с обычною фабричного набойкою; основа гнилая и проклеенная, уток линючих цветов и красок, и в Москве, и в Сибири, и в Кавказе, и в Саратове. Песня стала и любимою и распространенною; редкой другой песне доставалась такая счастливая доля, несмотря на то, что за нею нет никаких достоинств, каковыми красятся старинные, настоящие народные песни. В этой пародии на русскую

песню нет уже искреннего чувства и поэтических образов, хотя и замечается тонический размер и рифма. Между тем такого склада песням, с конца прошедшего столетия, судьба судила занять чужое, не принадлежащее им место, как бы в доказательство того, что народ уже успел забыть старые образы и приемы, самобытные и художественные, и потянулся к новым, искусственным и прозаическим. Во всяком случае, нельзя не видеть в этом явлении упадка поэтического чутья и художественного вкуса в силу причин, исключительно не зависевших от народа. С такими ли красками подходили к своим идеалам прежние народные певцы и так ли легко отходили от них прежние люди? Для образца представляем одну старинную песню (записанную в Саратовской губ.), получившую вдохновение и содержание свое в том же источнике, из которого вытекла и новая тюремная песня, — близкая свойственница новомодным лакейским, трактирным и фабричным песням:

Еще сколько я, добрый молодец, не гуливал.
Что не гуливал я, добрый молодец, не похаживал,
Такова я чуда-дива не нахаживал,
Как нашел я чудо-диво в граде Киеве:
Среди торгу-базару, середь площади,
У того было колодечка глубокого,
У того было ключа-то подземельного,
Что у той было конторушки Румянцевой,
У того было крылечка-у перильчата, —
Уж как бьют-то добра молодца на правеже,
Что на правеже его бьют,
Что нагого бьют, босого и без пояса,
В одни гарусных чулочках-то, без чоботов:
Правят с молодца казну да монастырскую *

---

* У песни вариант:
Били доброго молодца на правеже
На жемчужном перехрестычке[1]
Во морозы во хрещенские.
Во два прутика железные.

Он стоит удаленький, не тряхнется,
И русы кудри не шелохнутся,
Только горючи слезы из глаз катятся.
Наезжал к нему православный царь,
Православный царь Петр Алексеевич.
Не золотая трубынька вострубила,
Не серебряна сыповочка возыграла,
Тут возговорит царь Петр Алексеевич:
«Вы за што добротнова казните?
Бьете-казните казнью смертною?»
Тут возговорят мужики приходские:
«Уж ты гой-еси, православный царь,
Царь Петр Алексеевич!
Мы за то его бьем-казним:
Он покрал у нас Миколу-то Можайскова
И унес казны сорок тысячей».
Тут возговорит добрый молодец:
«Уж ты гой-еси, православный царь,
Православный государь Петр Алексеевич,
Не вели меня за слово казнить-вешати,
Прикажи мне слово молвите,
Мне себя, добра молодца, поправите,
Не я покрал у них Миколу-то Можайскова,
И не я унес у него золоту казну,
А покрали его мужики-кашилы.
Только случилося мне, доброму молодцу,
Это дело самому видети.
Гулял я, молодец, по бережку
На желтом песку, при мелком леску,
И увидел, что они делят казну,
Не считаючи делят – отгребаючи.
У меня, у молодца, сердце разгорелося,
Молодецкая кровь раскипелася,
Ломал я, молодчик, мостовиночку дубовую,
Перебил я мужиков до полусмерти,
Иных прочих чуть живых пустил
И взял я у них золоту казну.
Взявши казну, стал пересчитывать:
Насчитал казны сорок тысячей».
Тут не золота трубынька вострубила

Из-за гор-то было гор, из-за высоких,
Из-за лесу-то было лесочку, леса темного,
Что не утренняя зорюшка знаменуется,
Что не праведное красно солнышко выкатается:
Выкаталась бы там карета красна золота,
Красна золота карета государева.
Во каретушке сидел православный царь,
Православный царь Иван Васильевич.
Случилось ему ехать посередь торгу;
Уж как спрашивал надежа — православный царь,
Уж как спрашивал добра молодца на правеже:
«Ты скажи-скажи, детина, правду-истину:
Еще с кем ты казну крал, с кем разбой держал?
Если правду ты мне скажешь — я пожалую,
Если ложно ты мне скажешь — я скоро сказню.
Я пожалую тя, молодец, в чистом поле
Что двумя тебя столбами да дубовыми,
Уж как третьей перекладиной кленовою,
А четвертой тебя петелькой шелковою».
Отвечат ему удалый добрый молодец:
«Я скажу тебе, надежа — православный царь,
Я скажу тебе всю правду и всю истину,
Что не я-то казну крал, не я разбой держал!
Уж как крали-воровали добры молодцы,
Добры молодцы, донские казаки.
Случилось мне, молодцу, идти чистым полем.

Не серебряна сыповочка возыграла,
Как возговорит надежа – православный царь,
Православный государь Петр Алексеевич:
«Ты куда такову казну девал?»
Тут возговорит добрый молодец:
«Уж ты гой-еси, православный царь,
Православный царь, Петр Алексеевич,
Прогулял я во кружале
Со голытьбою со кабацкою!»

[1]) В Москве урочище: место старых казней.

Я завидел в чистом поле сырой дуб стоит,
Сырой дуб стоит в чистом поле кряковистый.
Что пришел я, добрый молодец, к сыру дубу.
Что под тем под дубом под кряковистым,
Что казаки они дел делят,
Они дел делят, дуван дуванили.
Подошел я, добрый молодец, к сыру дубу,
Уж как брал-то я сырой дуб посередь его,
Я выдергивал из матушки сырой земли,
Как отряхивал коренья о сыру землю.
Уж как тут-то добры молодцы испугалися:
Со дели они, со дувану разбежалися:
Одному мне, золота казна досталася,
Что не много и не мало — сорок тысячей.
Я не в клад-то казну клал, животом не звал,
Уж я клал тое казну во большой-от дом,
Во большой-от дом, во царев кабак».

Вот те песни, который нам удалось слышать в Сибири от ссыльных, или собственно тюремные песни:

I

При долинушке вырос куст с малинушкой
(или с калинушкой)
На кусточке ли (или на калинушке) сидит
млад соловеюшко,
Сидит, громко свищет.
А в неволюшке сидит добрый молодец,
Сидит, слезно плачет;
Во слезах-то словечушко молвил:
— Растоскуйся ты, моя любезная, разгорюйся!
Уж я сам-то по тебе, любезная,
Сам я по тебе сгоревался.
Я от батюшки, я от матушки
Малой сын остался.
«Кто тебя, сироту, вспоил, вскормил?»
— Вскормил, вспоил православный мир,

Возлелеяла меня чужая сторонка,
Воскачала-то меня легкая лодка.
А теперь я, горемышный, во тюрьму попал,
Во тюрьму попал, тюрьму темную.

II

Из-за лесу, лесу темного,
Из-за гор, гор высоких,
Выплывала лодка легкая.
Ничем лодочка не изукрашена,
Молодцами изусажена;
Посередь лодки бел шатер стоит;
Под шатром-то золота казна;
Караульщицей красна девица,
Девка плачет, как река льется;
У ней слезы, как волны бьются.
Атаман девку уговаривает:
— Не плачь, девка, не плачь, красная!
«Как мне, девушке, не плакати?
Атаману быть убитому,
Палачу (есаулу?) быть расстреляну!
А мне, девушке, тюрьма крепкая
И сосланьице далекое.
В чужедальнюю сторонушку,
Что в Сибирь-то некрещеную!»

III

Ты воспой, воспой,
    Жавороночек,
На крутой горе,
    На проталинке.
Ты утешь-ка, утешь,

Меня, молодца,
Меня, молодца
Во неволюшке,
Во неволюшке,
В каменной тюрьме,
За тремя дверьми
За дубовыми,
За тремя цепями
За железными.
Напишу письмо
К своему батюшке, —
Не пером напишу,
Не чернилами,
Напишу письмо
Горючьми слезьми.
Отец с матерью
Отступилися:
«Как у нас в роду
Воров не было,
Ни воров у нас,
Ни разбойников».

IV

Уж ты, гуленька мой голубочек,
Сизокрылый ты мой воркуночек!
Отчего ко мне, гуленька, в гости не летаешь?
Разве домичка моего ты не знаешь?
Мой домик раскрашенной: ни дверей нет, ни окошек,
Только печка муровая, труба дымовая.
Как во трубочку дымок повевает,
А у моей любушки сердце занывает.
Ах вы, нянюшки-мамушки!
Вы берите ключи золотые,
Отпирайте замки вы витые,

Вынимайте вы уборы дорогие.
Вы идите к чиновникам с поклоном —
Выручайте, дружки, из неволи!
Или голоску моего, гуленька, ты не слышишь:
Мой громкой голос ветерком относит?
Или сизые твои крылья частым дождем мочит,
Холодным осенненьким сверху поливает?
Как не ласточка кругом саду летает,
Не касаточка к земле низко припадает,
А про мое несчастьице, видно, не знает:
Будто я, добрый молодец, во тюрьме сижу, во неволе.
Что никто-то, никто ко мне, доброму молодцу,
Не зайдет, не заедет, никто не заглянет.
Тут зашла-зашла к нему гостюшка дорогая,
Вот его-то любушка милая;
Не гостить зашла, а проведать.
Уж ты, любушка, ты моя радость дорогая,
Выкупай ты меня Бога для из неволи!
Не жалей ты своих цветных уборов:
Ты сходи-тка, сходи в дом к прокурору,
Попроси ты его слезно, попрошай-ка:
Не отпустит ли он меня, молодца,
На вольной свет погуляти,
Свое горе лютое разогнати? *)

---

* В Холмогорах (Арх. г.) мне удалось записать еще вариант этой песни древнейшего происхождения:

Мой сизой голубчик,
Ты зачем, для чего
В садик не летаешь?
Буйным ветром
Сизого относит,
Частым дождем
Крылья-перья мочит.
Мой миленькой,
Мой милой дружочек!
Ты пошто, для чего
Редко в гости ходишь:

V

Соловейко ты мой, соловейко,
Разнесчастный ты мой соловейко!
Ты не вей себе, не вей себе теплого гнездышка,
Не вей при дорожке,
А совей-ка лучше его при долине:
Там никто его, никто не разорит
И твоих малых детушек никто не разгонит.
Как у Троицы было под горою,
За каменною было за стеною,
Там сидит, сидит добрый молодец,

Твой отец да мать
Тебя не спускают,
Род они, племя
Тебе запрещают?
Сидел-посидел
Удалой молодчик
В темной темнице.
У той у темной, у темной темницы
Ни дверей нету, нету ни окошек,
Еще в ней нету ни красна крылечка,
Только есть одна труба дымовая,
Из той трубы дым-от повевает,
Меня молоду горе разбирает.
Пойду я, млада, с горя в зелен садик,
Пойду-возьму я ключи золотые;
Отопру я сундуки-ларцы кованы,
Возьму денег ровно сорок тысяч,
Стану дружка-дружка выкупати.
Из неволюшки его выручати,
Грозен судья, судья-воевода,
Моей казны-казны не примает,
Меня молоду горе разбирает!
Пойду молода я с горя в чисто поле,
Пойду, нарву я лютого коренья,
Буду, стану я судью опоити.

Он сидит, сидит в каменной тюрьме;
Он не год сидит, он не два года.
Что никто к нему, разудалому,
Никто не зайдет, никто не заедет.
Тут зашла к нему гостюшка дорогая,
К нему матушка его родная;
Не гостить зашла, а проведать:
— «Каково-то тебе, сыну милому,
Во тюрьме сидеть, во неволюшке?
Во тюрьме сидеть за решетками,
За решетками за железными?»
— Ах ты, матушка, ты, родимая!
Ты сходи, сходи к прокурору в дом,
Попроси-ка ты его милости,
Не отпустит ли меня, доброго молодца,
На свет белый погулять еще?

VI

Привелось мне, доброму молодцу,
Ехать мимо каменной тюрьмы.
На тюремном-то на белом окошечке
Сидел добрый молодец:
Он чесал свои русы кудерушки,
Частым белым гребешком.
Расчесавши свои русы кудерушки,
Сам восплакал слезно и сказал:
«Вы подуйте-ка, буйны ветры,
На родиму сторону!
Отнесите-ка вы, ветры буйные,
Моему батюшке низкий поклон,
Как моей родимой матушке челобитьице!
А жене молодой вот две волюшки:
Как первая воля — во вдовах сиди,
А вторая воля — замуж пойди!
На меня-то, молодца, не надейся,

У меня-то, молодца, есть своя печаль непридумная:
Осужден-то я на смертную казнь,
К наказанью ль кнутом да не милостному *.

VII

Ты не пой-ка, не пой, млад жавороночек,
Сидючи весной на проталинке,
На проталинке — на прогалинке.
А воспой-ка, воспой, млад жавороночек,
Воспой-ка, воспой при долине.
Что стоит ли тюрьма,
Тюрьма новая,
Тюрьма новая, дверь дубовая;
Что сидит ли там, сидит добрый молодец,
Он не год сидит, он не два года,
Сидит ровно семь годов.
Заходила к нему матушка родная!
«Что я семь-то раз, семь раз выкупала,
Что и семь-то я, семь тысяч потеряла,
Что осьмой-то, осьмой-то тысячи не достало».

VIII

Сад ли мой, садочек,
Сад зеленый виноград!
Отчего садик поблек? —

---

* В известной русской песне: «Уж как пал туман на сине море», мотив этот повторяется в конце с таким вариантом:

«Молодой жене скажите мою волюшку –
На все ли на четыре сторонушки,
Малым детушкам благословеньице».

В саду Ванюшка гулял,
Красных девок забавлял,
Во победушку попал,
Во победу, во нужду:
В крепку каменну тюрьму.
Под окном Ваня сидел,
С конем речь говорил:
«Ах ты, конь мой вороной,
Конь, добра лошадь моя!
Ты не выведешь меня
Из победы, из нужды,
Из крепкой каменной тюрьмы».
Как солнце на восход, —
Ведут Ваню на допрос.
Поперед палач с плетьми,
Позаде жена с детьми
Уливается слезами.
«Ах ты, женушка моя!
Жена, барыня моя!
Чем дарила палача?»
— Со белой шеи платком,
Со правой руки кольцом. —
Красно солнце на закат,
Ведут Ванюшку назад.

Сопоставляя эти песни рядом, мы видим в них разительное сходство в основных мыслях: одна служит основанием другой. Если источник этих песен лежит в думах заключенников русских тюрем (где они, по всему вероятию, и придуманы), то, тем не менее песни эти любимые и у сибирских арестантов. Одна песня (№ IV) даже до такой степени освоилась в Сибири, что ее там признают все за свою, называют сибирскою национальною и знают ее и поют все, начиная с тюремных казарм и крестьянских изб и кончая богатыми кабинетами и гостиными богатых купцов и золотопромышленников. Эта — одна из самых известных и распространенных песен в Сибири, несмотря на то, что коренной сибиряк вообще петь не охотник, мало знает песен и по-

чти ни одной своей не придумал. Сибирскою можно назвать упомянутую песню разве потому только, что сибиряки несколько изменили напев, отличающийся от русского большею тоскливостью (к тому же он и растянутее). Творчество в Сибири, по-видимому, не шло дальше того, что завещано Россиею, и остановилось, удовлетворенное старыми русскими образцами. Взамен того, в Сибири заметно явление противоположного свойства: там из готового материала составляются новые песни, в которых начало взято из одной, конец приставлен из другой. Эта перетасовка и перекройка стихов — дело обычное у арестантов, примеры мы укажем ниже. Вот, между прочим, один, отвечающий сразу трем песням, помещенным нами под №№ III, IV и V. В России III песне отвечает следующая, очень распространенная:

Ты воспой, воспой, млад жавороночек,
Сидючи весной на проталинке.
Сидит молодец в темной темнице,
Во темной темнице-заключеньице;
Пишет он граматку к отцу, к матери,
К отцу, к матери, к молодой жене:
«Ох ты, матушка, родной батюшка!
Выкупи, выручи доброго молодца,
Доброго молодца из темной темницы».
Как отец-то и мать отказалися,
Все сродники отступаются *.
Ты воспой, воспой, мил жавороночек,
Сидючи весной на проталинке.
Сидит молодец в темной темнице,
Во темной темнице, в заключеньице;
Пишет граматку к красной девице,
К красной девице, прежней полюбовнице:
«Выкупи, выручи доброго молодца,
Ах ты душенька — красная девица,

* В России вариант:
Как у нас в роду воров не было,
Ни воров у нас, ни разбойничков.

Ты, прежняя моя полюбовница!»
Красная девица горько всплакнула,
Горько всплакнула, слова молвила:
«Ох вы нянюшки, мои мамушки!
Вы берите скорей золоты ключи,
Отпирайте вы кованы ларцы,
Вы берите казны сколько надобно,
Выкупайте доброго молодца,
Доброго молодца из темнȯй тѐмницы,
Из темнȯй темницы-заключеньица».

Песня под № VIII составлена из двух, из которых одна поется в России так:

Уж ты, веснушка наша весна!
Ты не к радости, весна, пришла,
Не к радости, весна, не в често,
Во великой большой сухоте.
Уж ты, сад ли мой, садик,
Сад — зеленый виноград!
Отчего ты, садик, весь посох?
В саду Ванюшка — Ваня гулял,
Всею травыньку Ваня помял,
Алы цветики все Ваня перервал,
Красну девицу терял,
Во тюрьму Ваня попал.
Во тюремушке Ваня сидел,
Сам в окошечко глядел,
На доброго коня смотрел,
С конем речи говорил:
«Уж ты, конь ли мой конек,
Конь добра лошадь моя!
Что не вынесешь меня
С белой каменной тюрьмы?»

Вторая однородная русская песня (древнейшей формы) такова:

Добры мо̀лодцы все на волюшке живут,
Один Ванюшка в победушке сидит:
В каменно̀й, Ваня, государевой Москве,
В земляной тюрьме, за решетками,
За железными дверями,
За висячими замками.
За утра́ Ваню к наказаньицу ведут,
К наказаньицу — ко ременному кнуту,
К столу крашенному, дубовому.
По праву руку отец с матерью идут,
По левую руку молода жена с детьми,
Молода жена с детьми малыми,
Позади его православный весь народ.
Как и стал Ваня говорить жене:
«Ты сними с меня шелковой пояс
С позолоченными на нем ключиками.
Отопри, жена, окова́н сундук,
Уж ты вынь оттоль золотой казны,
Ты дари, жена, молодого палача,
Чтобы молодой палач меня легче наказывал!»

Для песни под № IV имеется в России такой вариант:

Не ласточка ко мне прилетала,
Касаточка вестку приносила:
Будто бы мой-то миленькой сидит во неволе,
Во той тюрьме, в губернском остроге.
Во той тюрьме нет ни дверей, ни окошек.
Одна труба и та дымовая;
Из трубоньки дымок повевает,
У девушки сердце заныввает.
Пойду, млада, в высоки хоромы,
Возьму, млада, ключи золотые:
Отопру, млада, ларцы кленовые,
Пойду, млада, всех судей дарить.
Судьи денег моих не принимают
Любезного ко мне не пущают.

В России еще известны следующие прекрасные тюремные песни:

1.

Из-под цветика да каменной Москвы,
Каменной Москвы да земляной тюрьмы,
Как из той ли тюрьмы да ведут молодца,
Ведут молодца да ведь ко вешанью,
Идет молодец да сам не качается,
Его буйная головушка не тряхнется,
Его русые кудерки не шелохнутся.
Во руках-то он несет воскову свечу,
Белы рученьки да воском залило.
Как навстречу ему православный царь.
Еще стал государь его расспрашивать:
— «Ты скажи-ка, скажи мне, добрый молодец,
Скажи, с кем ты воровал, с кем разбой держал?»
— Уж ты, батюшка благоверный царь!
Я не сам-то воровал, не сам разбой держал:
Воровали твои да донски казаки,
Донски казаки да казаченьки;
Все казаченьки дуван дуванили,
Дуван дуванили, казну делили,
Казну делили, да казну-денежки;
Уж как я ли, молодец, при том случае был,
При том случае был да все паю просил;
Уж как мне-то, молодцу, паю не дали...
Все казаченьки да испугалися,
По низким местам разбежалися,
По низким местам по болотичкам,
Одному-то мне казна досталася.

(Вариант в 1-м приложении: «Еще сколько я, добрый молодец, не гуливал» и проч.)

2.

Ходил-то я, добрый молодец, по чистому полю:
Мягкая постелюшка — зеленый песок,
Изголовьице мое — шелкова трава!
Как во селе было во Лыскове, —
Тут построена крепкая темница.
Как во той во крепкой темнице
Посажен сидит добрый молодец,
Добрый молодец Чернышев, Иван Григорьевич.
Он по темнице похаживает, сам слезно плачет,
Сам слезно плачет, он Богу молится:
«Ты возмой, возмой, туча грозная!
Разбей громом крепкие тюрьмы:
Во тюрьмах сидят все невольнички,
Невольнички неохотнички».
Все невольнички разбежалися,
Во темном лесу они собиралися,
Сходилися они на поляночку,
На поляночку на широкую.
«Ты взойди, взойди, красное солнышко!
Обогрей ты нас, добрых молодцев,
Добрых молодцев, сирот бедных,
Сирот бедных, беспашпортных».
Ниже города, ниже Нижнего
Протекала тут речка быстрая.
По прозванью речка Волга-матушка.
Течет Волга-матушка по диким мелким камушкам,
Как по реченьке плывет легка лодочка.
Эта лодочка изукрашенная,
Все молодчиками изусаженная.

3.

Как светил да светил месяц во полуночи,
Светил вполовину;
Как скакал да скакал добрый молодец
Без верной дружины.

А гнались да гнались за тем добрым молодцем
Ветры полевые;
Уж свистят да свистят в уши разудалому
Про его разбои.
А горят да горят во всем по дороженькам
Костры стражевые;
Уж следят да следят молодца-разбойника
Царские разъезды;
А сулят да сулят ему, разудалому,
В Москве белокаменной каменны палаты.

4.

Уж ты воля, моя воля, воля дорогая,
Ты воля дорогая, девка молодая!
Девка по торгу (или: во Москве девка) гуляла —
красоту теряла;
Красоту девка теряла (платочек украла),
в острог жить попала;
Скучно, грустно красной девке в остроге сидети,
Во неволюшке сидети, в окошко глядети.
Мимо этого окошка лежит путь-дорожка.
Как по этой по дорожке много идут-едут.
Моего дружка, Ванюши, его следу нету.
За быстрою за рекою мой Ваня гуляет,
Там мой Ванюшка гуляет, товар закупает,
Товар Ваня закупает купеческой дочке.
Уж и то-то мне досадно, хоть была бы лучше!
Разве тем-то она лучше, что коса длиннее,
Что коса у ней длиннее и брови чернее.

5.

Не рябинушка со березонькой
Совивается.
А не травонька со травонькой
Соплетается.

Как не мы ли, добрые молодцы,
Совыкалися.
Как леса ли, вы лесочки,
Леса наши темные!
Вы кусты ли, наши кусточки,
Кусты наши великие!
Вы станы ли, наши станочки,
Станы наши теплые!
Вы дружья ли, наши дружья,
Братцы-товарищи!
И еще ли вы, мои лесочки,
Все повырубленные!
Все кусты ли, наши кусточки,
Все поломанные!
Вы станы ли, наши станочки,
Все разоренные!
Все дружья наши, братцы —
Товарищи посажены,
(Остался один товарищ —
Стенька Разин сын).
Резвы ноженьки в кандалах заклепаны.
У ворот-то стоят грозные сторожи,
Грозные сторожи — бравые солдатушки.
Никуда-то нам, добрым молодцам,
Ни ходу, ни выпуску,
Ни ходу нам, ни выпуску
Из крепкой тюрьмы.
Ты возмой, возмой, туча грозная,
Ты разбей-ка, разбей земляны тюрьмы!

6.

Не от пламечка, не от огнечка
Загоралася в чистом поле ковыль-трава;
Добирался огонь до белого до камешка.
Что на камешке сидел млад ясен сокол.
Подпалило-то у ясна сокола крылья быстрые,

Уж как пеш ходит млад ясен сокол по чисту полю.
Прилетели к ясну соколу черны вороны;
Они граяли, смеялись ясну соколу,
Называли они ясна сокола вороною:
— Ах, ворона ты, ворона, млад ясен сокол,
Ты зачем, зачем, ворона, залетела здесь?
Ответ держит млад ясен сокол черным воронам:
— Вы не грайте, вы не смейтесь, черны вороны!
Как отрощу я свои крылья соколиные.
Поднимусь я, млад сокол, высокошенько,
Высокошенько поднимусь я по поднебесью,
Опущусь я, млад ясен сокол, ко сырой земле;
Разобью я ваше стадо, черны вороны,
Что на все ли на четыре стороны;
Вашу кровь пролью я в сине море,
Ваше тело раскидаю по чисту полю,
Ваши перья я развею по темным лесам.
Что когда-то было ясну соколу пора-времячко,
Что летал млад ясен сокол по поднебесью;
Убивал млад ясен сокол гусей-лебедей,
Убивал млад ясен сокол серых уточек.
Что когда-то было добру молодцу пора-времячко,
Что ходил гулял добрый молодец на волюшке,
Что теперь добру молодцу поры-время нет.
Засажен сидит добрый молодец во победности:
У злых ворогов добрый молодец в земляной тюрьме.
Он не год-то сидит, добрый молодец, и не два года,
Что головушка у добра молодца стала седешенька,
Что бородушка у добра молодца стала белешенька.
А все ждет-то он, поджидает выкупу — выручки:
Был и выкуп бы, была выручка, своя волюшка,
Да далечева родимая сторонушка!

Два последних стиха приставлены из другой песни; без них она поется вся в целом виде на Урале. В нашем сборнике песен она восполняет недостающее и забытое на нерчинских заводах в той песне, которая помещена нами в тексте 2-й главы «На каторге», а записана за Байкалом.

В России сохранилась в народной памяти еще следующая песня, отвечающая содержанием своим многим тюремным песням:

7.

Из Кремля, Кремля крепка города,
От дворца, дворца государева,
Что до самой ли Красной площади
Пролегала тут широкая дороженька.
Что по той ли по широкой по дороженьке,
Как ведут казнить тут добра молодца,
Добра молодца, большого боярина,
Что большого боярина — атамана стрелецкого,
За измену против царского величества.
Он идет ли, молодец, не оступается,
Что быстро на всех людей озирается,
Что и тут царю не покоряется.
Перед ним идет грозен палач,
Во руках несет остер топор,
А за ним идут отец и мать,
Отец и мать, молода жена.
Они плачут, что река льется,
Возрыдают, как ручьи шумят,
В возрыдании выговаривают:
— Ты, дитя ли наше милое,
Покорися ты самому царю.
Принеси свою повинную;
Авось тебя государь-царь пожалует,
Оставит буйну голову на могучих плечах.
Каменеет сердце молодецкое,
Он противится царю, упрямствует,
Отца, матери не слушается.
Над молодой женой не сжалится,
О детях своих не болезнует.
Привели его на площадь Красную,
Отрубили буйну голову,
Что по самы могучи плечà.

Сохранились и песни, завещанные волжскими и другими разбойниками, некогда наполнявшими сибирские тюрьмы в избытке. Ими же занесены и забыты многие песни и в сибирских каторжных тюрьмах, где успели эти песни на наши дни частью изменить, частью изуродовать, а частью обменять на другие. Свободное творчество не получило развития; причину тому ближе искать в постоянных преследованиях приставниками. Песня в тюрьме — запрещенный плод. Дальнейшая же причина, естественным образом, зависит от тех общих всей России причин исторических, которые помешали создаваться новой песне со времен Петра Великого. Вначале вытесняли народные песни соблазнительные солдатские (военные), в которых ярко и сильно высказалось в последний раз народное самобытное творчество (особенно в рекрутских). С особенною любовью здесь приняты и особенным сочувствием воспользовались песни рекрутские и в сибирских тюрьмах: и «По горам, горам по высоким, млад сизой орел высоко летал», и «Как по морю-моречку по Хвалынскому», и «Не шуми-ка ты, не греми, мать зелена дубравушка *). Затем растянули по лицу земли

---

* Вот в каком виде являются эти три песни в Сибири на каторге:

I.

По горам, горам
        По высокиим,
Млад сизой орел
        Высоко летал,
Высоко летал,
        Жалобно кричал.
Во строю солдат
        Тяжело вздыхал:
«Мне не жаль, не жаль
        Самого себя,
Только жалко мне
        Зелена сада.
Во зеленом саду
        Есть три деревца:

Первое деревцо —
    Кипарисово,
Другое деревцо —
    Сладка яблонька,
Третье деревцо —
    Зелена груша.
Кипарис древо —
    Родной батюшка;
Сладка яблонька —
    Родна матушка.
Зелена груша —
    Молода жена.

II.

Как по морю-моречку по Хвалынскому
Плывут, восплывают тридцать кораблей:
Один-от кораблик поперед бежит,
Он бежит-бежит, соколом летит.
На том ли на кораблике Рыжков атаман.
«Гребите вы, молодцы, подгребайте,
Своих белых рученек не жалейте!
Как за нами, за молодцами, три погони:
Первая погонюшка — то солдаты,
Вторая погонюшка — то гусары,
Третья погонюшка — донски казаки.
Первой погонюшки не боюся,
Второй-то погонюшки не страшуся,
Третьей же погонюшки я боюся».
То не пулечка свинцовая пролетает,
Не калено ядрышко прилетает.
Атамана Рыжкова убивает.

III.

Не шуми-ка ты, не греми,
    Мать зелена дубравушка!
Не мешай-ка ты, не мешай
    Мне, молодцу, думу думати!

Ах, приходит же на дубравушку,
    Приходит невзгода.
Вот невзгодушка да на дубравушку —
    Зимонька холодна.
Исповысушит, исповыкрутит
    Все листья-коренья
Как на крутеньком и на прекрасненьком
    Был я на ярочке,
Как на желтеньком на рассыпчатом
    На мелком песочке.
Что не черные-то в поле
    Вороны слетались, —
Слеталися-собиралися
    Молодцы ребятушки.
Вы солдатушки, вы молоденьки,
    Вы новобраны!
Получили ли вы, ребятушки,
    Царские присяги?
Что ж ты, реченька, что ж ты, быстрая,
    Долго не проходишь?
Ледок тоненький, ледок осенненький
    Долго не проносишь?
Наших милых голубушек
    Долго не провозишь?
Наши милые голубушки
    Сами переедут.

Известная былина-песня «Соезжает князь Михайло со широкого подворьяѐ, рассказывающая об убийстве свекровью невестки, в сибирских тюрьмах известна до мельчайших подробностей и даже представляет лучший, полнейший вариант. В Сибири одно убийство служит поводом к двум новым убийствам:

Вынимает князь Михайло
Из ножон булатный ножик:
Он пронзает свое сердце,
Он пронзает ретивое.
Как возговорит его матушка родима:

русской войска в то время, когда уже познакомились они с деланною, искусственною и заказною песнею; потом завелись фабричные и потащили в народ свои доморощенные песни, находящиеся в близком родстве с казарменными; наконец, втиснули в народ печатные песенники с безграмотными московскими и петербургскими виршами, с романсами и цыганскими безделушками. Но в солдатских и фабричных песнях уже утратилась старая, ловкая грань и заявилась новая, фальшивая, а потому и не мудрая. Да пусть живет и такая, когда нет другой: на свободе песня творится, на воле поется, где и воля, и холя, и доля, а обо всем этом в тюрьмах нет и помина.

В сибирских тюрьмах есть еще несколько песен, общеупотребительных и любимых арестантами, несмотря на то, что они, по достоинству, сродни кисло-сладким романсам песенников. Решаюсь привести только три в образчик и в доказательство, что другие, подобные им, и знать не стоит.

ПЕРВАЯ

Сидит пташечка во клетке,
Словно рыбочка во сетке.
Видит птичка клетку,
Клетку очень редку,
Избавиться не может.
Крылья-перья бедна перебила,
Все по клеточке летала.
Вострый носик притупила,
Все по щелочкам клевала.

«Ахти, злодейка я, согрешила,
Три души я погубила:
Се-де сына, се невестку,
Се младенца во утробе!»

Отчего же у нас слезы льются,
Словно сильны быстры реки?
Слезы льются со кручины,
Со великой злой печали.
Вспомню, мальчик — сожалеюсь,
Где я, маленький, родился.
Привзведу себе на память,
С кем когда я веселился.
Имел я пищу, всяку растворенность,
Ел я хлеб с сытою,
Имел я кровать нову тесовую,
Перинушку перовую.
Я теперя, бедный, ничего не имею,
Кроме худой рогожонки.
Я валяюсь, бедный, под ногами
До такого время-часу:
Ожидаю сам себе решенья
Из губернского правленья.
Неизвестно, что нам, братцы, будет,
Чем дела наши решатся.
Перетер я свои ножки резвы
Железными кандалами;
Перебил я свои ручки белы
Немецкими наручнями;
Приглядел я свои ясны очи
Скрозь железную решетку:
Вижу, все люди ходят по воле,
Я один, мальчик, во неволе.

ВТОРАЯ

Хорошо в остроге жить,
Только денежкам не вод.
По острогам, по тюрьмам,
Ровно крысы пропадàм.
Как пойдет доход калашный —

Только брюхо набивай;
Отойдет доход калашный —
Только спину подставляй… и проч.

ТРЕТЬЯ

Суждено нам так страдать!
Быть, прелестная, с тобой
В разлуке — тяжко для меня.
Ох! я в безжалостной стране!
Гонимый варварской судьбой,
Я злосчастье испытал.
Прошел мытарства все земные
На длинной цепи в кандалах.
Тому причиной люди злые.
Судья, судья им — небеса.
Знаком с ужасной я тюрьмою,
Где много лет я пострадал.
Но вот уж, вот уж — слава Богу! —
Вздохнув, я сам себе сказал:
Окончил тяжкие дороги
И в Сибирь я жить попал,
Где часто, как ребенок, плачу:
Свободы райской я лишен.
Ах! я в безжалостной стране.
В стране, где коварство рыщет,
Где нет пощады никому,
Где пламенная язва пышет,
Подобно аду самому.
Лишь утрення заря восходит,
Словно в аде закипит,
Приказание приходит,
Дежурный строго прокричит:
«Вставай живее, одевайся!
Все к разводу выходи!»
Но вот одно, одно мученье:

Манежно учат ходить нас.
Я Богу душу оставляю,
Жизнью жертвую царю,
Кости себе оставляю,
Сердце маменьке дарю *.

Несомненно, что сочинение этих песен принадлежит каким-нибудь местным пиитам, которые пустили их в толпу арестантов и занесли, таким образом, в цикл тюремных песен. Не задумались и арестанты принять их в руководство: благо песни в некоторых стихах близки к общему настроению духа, намекают (не удовлетворяя и не раздражая) о некоторых сокровенных думах и, пожалуй, даже гадательно забегают вперед и кое-что разрешают. Не гнушаются этими песнями арестанты, потому что требуют только склада (ритма) на г о л о с е (для напева), а за другими достоинствами не гоняются. Такова, между прочим, песня ссыльных, любимая ими:

Уж ты, матушка Рассея,
Выгоняла нас отцеля (2-жды),
Нам отцеля (отселя) не хотелось (2-жды)
Сударушка не велела, (2-жды),
Любить до веку хотела (2-жды).
Как за речкой за Дунайкой (2-жды),

* Известны еще длиннейшие вирши: «Позвольте вспомнить про былое» и проч. и «На дворе шумела буря, ветер форточкой стучал»; «Я видел, как в стране чужой моих собратьев хоронили» и пр., все неудачные попытки, рассчитывающие на дальнейшее развитие тюремной песни, но пользующиеся некоторым успехом только в военных каторжных тюрьмах. За ними одно досадное право – вытеснять мало-помалу самобытные перлы народного творчества. Из известных романсов пробрался в тюрьмы между прочим варламовский: «Что не ветер ветку клонит».

Красные девушки там гуляли,
Промежду собою речь говорили,
Все по девушке тужили:
— Что на девушку за горе,
Что на красну за такое?
С горя ноженьки не носят,
Белы ручки не владают;
С плеч головушка скатилась,
По кроватке раскатилась,
Дружка милого хватилась.

Однако некоторым достоинством и даже искусством, обличающим опытного стихотворца, отличается одна песня, известная в нерчинских тюрьмах и предлагаемая как образчик туземного, сибирского творчества. Песню подцветили даже местными словами для пущего колорита: является омулевая бочка — вместилище любимой иркутской рыбы омуля, во множестве добываемой в Байкале и, в соленом виде, с достоинством заменяющей в Сибири голландские сельди; слышится баргузин, как название северо-восточного ветра, названного так потому, что дует со стороны города Баргузина и замечательного тем, что для нерчинских бродяг всегда благоприятный, потому что попутный. Наталкиваемся в этой песне на Акатуй — некогда страшное для ссыльных место, ибо там имелись каменные мешки и ссыльных сажали на цепь, Акатуй — предназначавшийся для безнадежных, отчаянных и почему-либо опасных каторжников. В середине песни вплываем мы и в реку Карчу — маленькую, одну из 224 речек, впадающих в замечательное и знаменитое озеро-море Байкал.

Славное море, привольный Байкал!
    Славный корабль — омулевая бочка!
Ну, баргузин, пошевеливай вал,
    Плыть молодцу недалечко.
Долго я звонкие цепи носил,
    Душно мне было в горах Акатуя!
Старый товарищ бежать пособил:

Ожил я, волю почуя.
Шилка и Нерчинск не страшны теперь,
Горная стража меня не видала,
В дебрях не тронул прожорливый зверь,
Пуля стрелка миновала.
Шел я и в ночь и средь белого дня,
Вкруг городов я просматривал зорко,
Хлебом кормили крестьянки меня,
Парни снабжали махоркой.
Весело я на сосновом бревне
Плыть через глубокие реки пускался,
Мелкие речки встречалися мне —
Вброд я чрез них преправлялся.
У моря струсил немного беглец:
Берег крутой, а и нет ни корыта.
Шел я Карчой и дошел, наконец,
К бочке, дресвою замытой.
Нечего думать — Бог счастье послал:
В этой посуде и бык не потонет;
Труса достанет и на судне вал,
Смелого в бочке не тронет.
Тесно в ней жить омулям —
Мелкие рыбки, утешьтесь словами:
Раз побывать в Акатуе бы вам, —
В бочку полезли бы сами.
Четверо суток ношусь по волнам,
Парусом служит армяк дыроватый,
Близко виднеются горы и лес:
Мог погулять бы и здесь, да бес
Тянет к родному селенью (конца нет).

Вот, стало быть, и барин какой-то снизошел подарком и написал арестантам стихи, на манер столичного способа, к которому прибегали стихотворцы и водевилисты, желавшие приголубить и задобрить трактирных половых, банщиков и клубных швейцаров.

Около той же темы ходил и автор следующей, так называемой бродяжьей песни.

Обойдем мы кругом моря,
Половину бросим горя;
Как придем мы во Култук,
Под окошечко стук-стук.
Мы развяжем торбатейки,
Стрелять станем саватейки.
Надают нам хлеба-соли
Надают и бараболи (картофеля).
Хлеба-соли наберем,
В баньку ночевать пойдем.
Тут приходят к нам старые
И ребята молодые.
Слушать Франца-Венцеяна,
Про Бову и Еруслана;
Проводить ночь с нами ради,
Хотя пот течет с них градом.
Сибиряк развесит губы
На полке в бараньей шубе...

Арестанты — повторим опять — ничем не брезгают: они берут в тюрьму (хотя там и переделывают по-своему) также и песни свободных художников, какими были, например, поэты Лермонтов и Пушкин. Берут в тюрьму (и только переиначивают немного) и песню, сложенную на другом русском наречии и тоже поэтом и художником, каким был, например, известный малороссийский разбойник Кармелюк. В то же время поют арестанты: «Ударил час — медь зазвучала», но, разумеется, с приличною прибавкою: «Ударил час — цепь зазвучала и будто стоны издала; слеза на грудь мою упала, душа заныла – замерла». Поют арестанты и «Лишь только занялась заря» и «Проснется день моей красы», «Прощаюсь, ангел мой, с тобою» и «Я в пустыню удаляюсь», «Взвейся ласточка — вскружися», и «Во тьме ночной ярилась буря», и «Не слышно шуму городского» — все те, одним словом, песни, которые близко подходят своим смыслом к настроению общего тюремного духа. В особенности распространена последняя:

Не слышно шуму городского
В заневской башне тишина,
И на штыке у часового
Горит полночная звезда.

Распространена тем более эта песня, что в ней есть и бедный юноша — ровесник младым цветущим деревам, который в глухой тюрьме заводит песню и отдает тоску волнам. Выражено и прощанье с отчизною, родным домом и семьею, от которых узник за железною решеткою навек сокрылся, и прощанье с невестою, женою и тоска о том, что не быть узнику ни другом — ни отцом, что застынет на свете его место и сломится его венчальное кольцо. Выражена в песне и надежда: «Есть русский царь в златой короне: горит на нем алмаз златой», — и мольба: «Яви ты милость нам на троне: будь нам отец, — помилуй нас!» «Устроил я себе неволю (поет песня дальше), мой жребий — слезы и тоска, и горестную эту долю соделала рука моя», — и заключает так: «Прошла уж ночь — и на рассвете златой луч Феба воссиял, но бедный узник в каземате все ту же песню запевал». Рекомендуют арестанты и своих авторов в большом числе (из заклятых торбанистов), но мы песни их приводить не станем за бесплодностью содержания и уродством формы. Но вот, для образца, та песня, в которой извращен Лермонтов:

Между гор то было Енисея
Раздается томный глас,
Как сидит несчастный мальчик
Со унылою душой.
Белы ручуньки ломает,
Проклинал судьбу свою:
Злонесчастная фортуна,
Ты на что родишь меня?
Все товарищи гуляют,
Забавляются с друзьями,
Только я, несчастный мальчик,
Уливаюся слезьми.
Вы подайте мово друга,

Коня вороного мне:
Уж ты конь, ты лошадь добра!
Заодно со мной страдай!
Там звери люты возрычали,
Растерзать тебя хотят.
Не ходи, несчастный мальчик,
Лишь погибель там твоя.
Я взял бы себе друга —
Свово доброго коня:
На тюрьме-то там высокой
Дверь тяжелая с замком.
Черноокая далеко
В пышном тереме своем.
На коня потом вскочу,
В степь, как вихорь, улечу.
Лишь красавицу милую
Прежде сладко поцелую.

У этой песни есть двойник, как будто переделка Пушкина:

Сидел молодец в темнице,
Он глядел на белый свет,
На чернобровую девицу,
На сивогривого коня.
— Я б на конечка садился,
Словно б пташка полетел.
Весело б с милой встречался —
Со полуночной звездой.
— Ах! до зари бы не сидела
В новой спальне под окном,
Я украдкой не дарила б
Золотым с руки кольцом.
Я слила б из воску ярого
Легки крылышки себе:
Я б спорхнула, полетела,
Где мой миленький живет.

Живет мой за реченькой далеко,
А я, млада, за другой.
— Если любишь ты меня, —
Перейди, радость моя!
— Я бы рада перешла,
Переходечку не нашла;
Переходечек нашла —
Лежит жердочка тонка *.

Третья песня, приписываемая Кармелюку, с меланхолическим оттенком в напеве, досталась нам только в нескольких куплетах и притом в том виде, как сохранилась она в сибирских тюрьмах. Сам Кармелюк в сибирских тюрьмах, как сказано выше, жил, будучи сослан туда с Волыни за разбой. До ссылки он жил у своего пана в буфетчиках, наблюдал за посудою и серебром. Серебро украли, подозрение пало на Кармелюка; его бил пан почти ежедневно, Кармелюк не стерпел и ушел в бега. Его снова преследовали, он решился мстить: поджег панский дом, собрал головорезов, начал разбойничать, был пойман, наказан и сослан. Возвращаясь на родину из Сибири, через Урал, как говорит предание, переплыл на воротах (дощатых от казачьей хаты). На родине продолжал разбойничать, заступаясь за холопов и преследуя панов на всяком месте, по всякому вызову обиды крестьянской. Похождениями своими он наполнил всю Волынь; слава о нем распространилась по всему югу. Рассказы о его подви-

---

* Конец в этой песне выкраден из известной народной:

Ах ты, ночь ли ночь,
Ночка темная,
Осенняя бурная, —

с тою отменою, что мерный стих народной обменен на искусственный стихотворный. В подлиннике так:

Перейди, сударушка, на мою сторонушку.
Рада бы я перешла — переходу не нашла.
Переходочек нашла — лежит жердочка тонка,
Жердочка тонка — речка глубока.

гах составляют целую эпопею, которая ждет своего рассказчика. По рассказам этим, он один из героев народных (может быть, последних), отстаивавших с энергией, последовательностью и благородством казачью волю и долю от панского произвола. Популярность его доказывается не одними песнями, которые распевает вся южная Русь. Предание уверяет, что он не загубил ни одной души человеческой и был рыцарем в лучшем облагороженном смысле. Во время своих похождений на Волыни, представляющих ряд честных поступков, он два раза был схвачен. Один раз спасся тем, что, идучи под конвоем солдат в тюрьму, встречен был в лесу паном, ехавшим в карете. Пан спросил, кого ведут, и, узнав, что Кармелюка, ругал его, упрекал в злодействах. Когда Кармелюк убедил его, упреками в битье лежачего и несчастного, на денежную помощь и пан отворил дверцы, чтобы подать злотку, а Кармелюк подошел принять милостыню, — дверцы кареты захлопнулись после того, как Кармелюк был схвачен и посажен в карету, в виду оторопевших конвойных, его переодетыми хлопцами-сообщниками. Другой раз, посаженный в тюрьму, убежал из нее и увел вместе с собою союзников в темную и бурную осеннюю ночь таким образом. Тюрьма стояла вблизи оградного частокола. Кармелюк выломал железную решетку в окне, связал рубашки арестантов в длинную веревку; на конце привязал камень и конец этот забросил между остриями острожных палей: сделался мост. По мосту этому ушли утеклецы в лес и на волю. Убит он был в хате своей коханой, подкупленной паном, в то время, когда шел к ней на свидание через сени, в которых засел паныч с товарищами. Убит был — по преданию — из ружья, заряженного пуговицею, как характерник (колдун). Когда проходил через сени, в темноте показались головы преследователей. Почуяв недоброе, Кармелюк спросил любовницу и успокоился, что это овцы. В это время пуля угодила ему в лоб и положила на месте. При этом народное предание прибавляет, что паныч с товарищами были сосланы в Сибирь за убийство, так как на подобное преследование никто их не уполномочивал, а Кармелюк не был тем злодеем, который был бы достоин смерти. Вот его песня:

Зовут меня разбойником,
Скажут: убиваю.
Я никого не убил,
Бо сам душу маю.
Возьму гроши с богатого —
Убогому даю;
А так гроши поделивши, —
Сам греха не маю.
Комиссары, исправники
За мною гоняют.
Больше воны людей губят,
Чем я грошей маю.
Маю жинку, маю деток,
Да и тех не бачу;
Як взгадаю про их участь,
То горько заплачу.
А так треба стерегчися,
Треба в лесу жити,
Хоть здается — свет великий:
Негде ся подити... *.

---

* Отрывки эти, оставшиеся в сибирских тюрьмах, принадлежат песне, сохранившейся в целом виде на Волыни и записанной там Н. И. Костомаровым:

Повернулся я з Сибиру,
Не ма мине доли,
А здаеться, не в кайданах (в кандалах),
Еднак же в неволе.
Следят мене в день и в ночи,
На всяку годину:
Негде мене, подетися,
Я от журбы гину.
Маю жинку, маю дети,
Хочь я их не бачу,
Як згадаю про их муку,
То гирько заплачу.

И в заключение еще четыре песни сибирских тюрем, из которых одна коренная и самобытная песня, собственно тюремная:

Ты, тюрьма ли моя, ты тюрьма-злодеюшка,
    Для кого построена,
    Ах, для кого построена?
Не для нас-то ли, добрых молодцев,
    Все воров-разбойничков? (2 раза).
Уж как по двору-то все, двору тюремному,
    Ходит злодей — староста (дважды),

Зибрав себе жвавых (т. е. резвых) хлопцив,
    И що ж мине з того?
Заседаю при дорозе,
    Жду подорожного?
Чи хто иде, чи хто еде —
    Часто дурно ждати:
А так треба в лесе жити,
    Бо не маю хаты.
Часом возьму з богатого —
    Убогому даю.
А так гроши поделивши,
    Я греха не маю.
Зовут меня разбойником
    Кажут — разбиваю.
Я ж никого не забив,
    Бо сам душу маю.
Асессоры, справники
    Все меня гоняют,
Билып вони людей забили,
    Ниж я грошей маю.
Пишов бы я в место, в село:
    Всюду меня знают —
А бы б только показався,
    То зараз поймают.
А так треба стерегтися, —
    Треба в лесе жити,
Хочь здается свет великий —
    Негде ся подҁти.

Он в руках-то ли несет,
Несет он больши ключи.
Отворяет он, злодей-староста,
Он двери тюремные, —
И выводит нас, добрых молодцев,
Он нас к наказаньицу...

. . . .

Конца этой песни я узнать не мог; сообщавший мне ее поселенец не допел до конца: «Забыл-де, живя теперь на воле...»

Другая песня — на местном тюремном языке —- известна в Сибири под названием: «Песни несчастного». Она поется на один голос с предыдущею.

Нет несчастнее молодца меня:
Все несчастьица повстречались с молодцом со мной;
Не могу-то я, молодец, спокойно ночки провести,
Я должон день рожденьица своего клясти.
На свою судьбу буду Богу жалобу нести:
Ты, судьба ли моя, ты, несчастная судьба,
Никакой ты мне отрады не дала,
Еще больше того в огорченье привела!
С огорченья пленен молодец хожу.
Я пойду-то, молодец, в гостиный двор гулять,
Я куплю-то себе трехрублевую свечу
И поставлю ее в высоком терему:
Ты гори-ка, гори, моя белая свеча,
Пропадай-ко, пропадай, моя молодецка красота!

Третья песня, носящая название «Песни бродяг» и преданием приписываемая «славному вору, мошеннику и сыщику московскому Ваньке Каину», жившему в начале прошлого столетия:

Не былинушка в чистом поле зашаталася,
Зашаталась бесприютная моя головушка,
Бесприютная моя головушка молодецкая.
Уж куда-то я, добрый молодец, ни кинулся:
Что по лесам, по деревням все заставы,
На заставах ли все крепкие караулы;
Они спрашивают печатного паспорта,
Что за красною печатью сургучовой.
У меня, у добра молодца, своерушной,
Что на тоненькой на белой на бумажке.
Что куда ни пойду, братцы, поеду,
Что ни в чем-то мне, доброму молодцу, нет счастья.
Я с дороженьки, добрый молодец, ворочуся,
Государыни своей матушки спрошуся:
— Ты скажи-скажи, моя матушка родная:
Под которой ты меня звездою породила,
Ты таким меня счастьем наделила?

Четвертая сибирская песня, известная под именем заводской и записанная нами в Нерчинском Большом заводе со слов ссыльного, пришедшего с Урала (из Пермской г.), передана была с некоторою таинственностью. Знакомец наш придавал ей большое значение, как бы какой многознаменательной загадке и, проговорив песню, просил разгадать ее смысл. Вот эта последняя из известных нам тюремных песен, знакомая и России:

За рекой было, за реченькою,
Жили-были три бабушки,
Три Варварушки,
Три старые старушки —
Три постриженицы.
У первой у старушки
Было стадо коров.
У второй-то старушки
Было стадо быков.
У третьей у старушки

Нет никого, —
Одна козушка рязаночка.
Принесла она козла
И с тем вместе дурака —
Москвитенника.
По три годы козел,
По три годы дурак,
Под полатями стоял,
Мякинки зобал
Толокончатые,
А помоечки пил
Судомойчатые.
Стал же козел,
Стал же дурак,
На возрасте, —
У бабушки Варварушки
Отпрашиваться
В чисто поле гулять.
Пошел же козел
Пошел же дурак.
Он ножками бьет,
Как тупицами секет [1].
Глазками глядит
Как муравчиками[2].
Встречу козлу,
Встречу дураку
Незнакомый зверь:
Серенек и маленек,
Глазки на выпучке.
Обошедши козел кругом,
Пал ему в ноги челом,
Не ведаю о чем.

---

[1] В России вариант:
Он ножками трясет
Да мережки плетет.

[2] Т. е. очень бойко, — как объяснил песельник.

— «Как тебя, сударь, зовут,
Как тебя, сударь,
По изотчеству?
Не смерть ли ты моя,
Да не съешь ли ты меня,
Козла-дурака
И москвитенника»?
— Какая твоя смерть?
Ведь я заинька
Пучеглазенькой:
Я по камушкам скачу,
Я осиночку гложу.
Спрошу я у тебя,
У козла-дурака
И москвитенника,
Про семь волков,
Про семь брателков,
«Я шести не боюсь,
Я и семи не боюсь!
Шесть волков
На спину унесу,
А седьмого волка
Во рту (или в губах) утащу.
Из шести овчин
Шубу сошью,
А седьмой овчиной
Шубу опушу.
Отошлю эту шубу
Бабушке Варварушке:
Спать будет тепло
И потягаться хорошо».

Эта песня приводит нас к особому отделу песен, которому мы могли бы придать название юмористических, если бы они в полной мере сходствовали с теми русскими песнями, в которых действительно много своеобразного юмора. Беззаветная веселость, легкая насмешливость составляют отличительную черту таких песен, распеваемых на воле свободны-

ми людьми. В тюремных же песнях веселость и насмешливость приправлены, с одной стороны, значительною долею желчи, с другой — отличаются крайнею безнравственностью содержания: веселость искусственна и неискренна, насмешка сорвалась в одно время с больного и испорченного до уродства сердца. С настоящими юмористическими народными песнями эти тюремные имеют только общего одно: веселый напев, так как и он должен быть плясовым, т. е. заставляет скованные ноги, по мере возможности, выделывать живые и ловкие колена, так как и в тюрьме веселиться, плясать и смеяться иной раз хочется больше, чем даже и на вольной волюшке. Песен веселых немного, конечно, и собственно в смысле настоящих тюремных, которые мы назовем плясовыми, из известных нам характернее других две: «Ох, бедный еж, горемышный еж, ты куда ползешь, куда ежишься?» и «Эй, усы — усы проявились на Руси». Первая во многих частностях неудобна для печати наравне с десятком других казарменного грязного содержания (Фенькой, Мигачем, Настей, Кумой и другими).

Вместе с поляками-повстанцами и следом за своим паном князем Романом Сангушкою прислан был в Сибирь в Нерчинские рудники Онуфрий Ворожбюк, крестьянин Подольской губернии, один из многочисленных торбанистов Вацлава Ржевусского, эмира злотобродого, ученик торбаниста шляхтича Видорта.

Григорий Видорт (род. 1764 г.), народный украинский поэт, был с Ржевусским на Востоке. В 1821 году он перешел к Евстафию Сангушке и восхвалял его на торбане только год; в этом же году он умер, передав свое ремесло сыну Каэтану (умершему в 1851 г.). Каэтан Видорт был последний торбанист-художник. Сын последнего уже утратил искусство отца и деда, но продолжал забавлять Романа Сангушку песнями деда. Из них в честь Романа Сангушки сохранились многие, сочиненные на малороссийском языке. Эмир, как известно, любил лошадей и украинскую музыку. Для лошадей имел конюшню, не уступавшую в роскоши многим дворцам. В комнатах, украшенных с турецкою роскошью, Ржевусский любил по вечерам слушать торбанистов, которые razmarzo-

nemu panu пели песни, сложенные в честь его. Эти песни принес с собою Ворожбюк на каторгу, познакомил с ними каторжных, а кстати выучил и другим малорусским песням. Некоторые из песен, сочиненных Видортом и переданных Ворожбюком, помнили ссыльные поляки. Вот одна из них, чествующая эмира с лошадьми:

Гей? выихав наш Ревуха
В чистый степь гуляти,
Перевисив через плечи
Сигайдак богатый.
Грай море! черное море, биле море, сине море,
гала гаду гу-гу-гу-гу, гала гиду гу-гу-гу-гу.
Сивы кони поймали
Гнедые и черны.
Тешьте мене, щоб не тужил,
Ревуха моторный.
Грай море! черное море, биле море, и т. д.
Шахтамир, Тамира (наши кони) —
Той мои соколи!
Коли всиду смило иду,
Не спаду николи!
(Припевок)
Ах ты, Гульда, моя мила,
Коли на тя сяду,
Носишь мене по витру —
Николи не спаду.

Подай, Саво, коня свово,
Нехай меня знают;
Коли сяду на кони я,
Жилы мини дергают, и проч.

«Мелодия песни (говорит Аг. Гиллер) скорая, красивая и настоящая украинская, весьма сильно свидетельствующая о композиторском таланте Видорта. Ворожбюк в Сибири певал ее с энергией и всегда только под вдохновением любимых и милых воспоминаний. Эти песни оживляли его измученное сердце и разглаживали морщины на нахмуренном челе. А прекрасно пел Ворожбюк и мастерски играл на торбане! Он был известен в ссылке под именем “торбаниста”. Попался он в ссылку таким образом:

Фантазер, эмир Zlotobrody, в 1831 г. ушел в повстанье с оружием, лошадьми и торбанистами и погиб в битве под Даховом. Ворожбюк был взят в плен и приговорен в Сибирь. В толпе узников шел он в ссылку веселый, певучий, остроумный и болтливый. Достоинствами этими и другими он сумел в походе располагать конвойных солдат в свою пользу и выбивать у них различные уступки и льготы для товарищей. Ссыльные товарищи дали ему прозвище Шахрая (барышника, жида, торгующего ветошью). Все Шахрая любили, Шахрай всех веселил. Шли по Волыни и Украине не в скудости, потому что паны и панны делали для узников различные складчины из денег, одежды и вещей, потребных на дальнюю и трудную дорогу. В Нерчинских рудниках Ворожбюк женился на сибирячке, занялся хозяйством, торговал водкою, но, главное, работал деревянные курительные трубки, которые и раскупались товарищами и сибиряками. Низенький и смуглый, он был настоящим типом русина с черными волосами и ясным взором».

Народные русские песни покушались идеализировать преступников и характеризовали, между прочим, двух преступниц-убийц в следующем виде:

1.

По часту мелку орешничку
Тут ходил-гулял вороной конь,
Трое суток непоенный был,
Неделюшку, не кормя, стоял,

Черкасское седло на бок сбил,
Золотую гриву изорвал,
Шелков повод в грязи вымарал.
Не в Москве я был, не в Питере —
Во стрелецкой славной улице,
Во стрелецкой, во купеческой.

(Или так:)

Ты звезда ли моя восхожая,
Восхожая, полуночная!
Высоко ты, звезда, восходила,
Выше лесу, выше темного,
Выше садику зеленого.
Далеко звезда просветила
Дальше городу, дальше Саратова,
Дальше купчика богатого.
У того ли купца богатого
Случилося у него несчастьице,
Несчастьице, безвременьице:
Как жена мужа зарезала,
Белую грудь она ему изрезала
Не простым ножом — булатным.
Вынимала сердце с печенью.
На ножике сердце встрепенулося,
Жена-шельма улыбнулася,
Улыбнулася, рассмехнулася;
На холодный погреб бросила,
Дубовой доской задвинула,
С гор желтым песком засыпала,
А на верх того землею черною
Левой ноженькой притопнула,
Правой рученькой прищелкнула,
Хоронила и не плакала;
От него пошла — заплакала,
Сама младешенька вошла в горенку,
Садилася под окошечком,
Под окошечком передним.

Прилетали к ней двои соколы (или два голубя),
Двои соколы, двои ясные
(Или: двои голуби, двои белые) —
Деверья ее любимые.
Они стали ее спрашивати:
— Ты, сноха ль, наша невестушка!
А где наш братец Иванушка?
— Он отъехал во путь во дороженьку,
Во путь во дороженьку, в лес за охотушкой,
За лютым зверьем левицею.
— Ты, сноха ль, наша невестушка,
Что у тя в горенке за кровь?
— Белу рыбицу я чистила,
Бела рыбица трепеталася,
По стенам руда металася,
По горенке она брызгалася.
— Ах ты ль, сноха наша, невестушка!
На словах ты нас не обманывай:
Его добрый конь в стойле стоит,
Его сбруя ратная на стене висит.
— Ах вы, деверья, вы ясные соколы!
Вы возьмите саблю вострую,
Вы снимите с меня буйну голову:
Я свово мужа зарезала.
Вынимала сердце с печенью,
Положила в холоден погреб,
Засыпала тело песком желтым,
А поверх того землею черною.

2.

Что не ястреб совыкался с перепелушкою,
Солюбился молодец с красной с девушкою,
Проторил он путь-дорожку, — перестал ходить,
Продолжил он худу славу, — перестал любить,

Насмеялся ж ты мной, отсмею и я тебе:
Ты не думай, простота, что я вовсе сирота.
У меня ли у младой есть два братца родных,
Есть два братца родных, два булатных ножа.
Я из рук твоих, ног короватку смощу,
Я из крови твоей пиво пьяно наварю.
Из буйной головы ендову сточу,
Я из тела твово сальных свеч насучу,
А послей-то тово я гостей назову,
Я гостей назову и сестричку твою.
Посажу же я гостей на кроватушку,
Загадаю что я им да загадочку,
Я загадочку не отгадливую:
Да и что ж такого: я — на милом сижу,
Я на милом сижу, об милом говорю,
Из милого я пью, милым потчую,
А и мил предо мною свечою горит?
Вот тут стала сестричка отгадывати:
«А говаривала, брат, я часто тебе,
Не ходи ты туда, куда поздно зовут,
Куда поздно зовут да где пьяни живут».

В заключение последняя сибирская песня, называемая бродяжьей:

Вы бродяги, вы бродяги,
        Вы бродяженьки мои...
Что и полно ль вам, бродяги!
        Полно горе горевать:
Вот придет зима, морозы:
        Мы лишилися гульбы.
Гарнизон стоит порядком,
        Барабаны по бокам,
Барабанщики пробили,
        За приклад всех повели,
Плечи, спину исчеканят,

В госпиталь нас поведут,
Разувают, раздевают,
Нас на коечки кладут,
Мокрыми тряпицами обкладывают:
Знать, нас вылечить хотят.
Мы со коечек вставали,
Становилися в кружок.
Друг на дружку посмотрели —
Стали службу разбирать:
Вот кому идти в Бобруцкой,
Кому в Нерчинской завод.
Мы Бобруцка не боимся,
Во Нерчинске не бывать:
Путь-дороженька туда не близко,
Со пути можно удрать.
Тут деревня в лесу близко,
На пути стоит кабак,
Целовальник нам знакомой;
Все из наших из бродяг.
Мы возьмем вина побольше,
Инвалидных подпоим.
И конвой весь перепьется,
И в поход тогда пойдем.
Мы конвой весь перевяжем,
Караульных разобьем,
Мы оружье все захватим, —
Сами в лес с ним удерем.

В таком виде известна эта песня в Сибири. Первообразом ей, вероятно, послужила песня, сочиненная, по преданию, разбойником Гусевым, ограбившим Саратовский собор. В саратовском остроге Гусев сложил такую песню:

Мы заочно, братцы, распростилились
С белой каменной тюрьмой,
Больше в ней сидеть не будем,

Скоро в путь пойдем большой.
Скоро нас в Сибирь погонят,
Мы не будем унывать —
Нам в Сибири не бывать,
В глаза ее не видать.
Здесь дороженька большая,
И с пути можно бежать,
Деревушка стоит в пути близко,
На краю Самар-кабак.
Целовальник наш знакомый:
Он из нас же, из бродяг.
За полштоф ему вина
Только деньги заплатить,
Кандалы с нас поснимает, —
Можно будет нам бежать.

Н. М. Ядринцев

ОСТРОЖНАЯ ПОЭЗИЯ, МУЗЫКА И ТЮРЕМНОЕ ТВОРЧЕСТВО

Несчастие имеет свою песню; точно так же и острог создал свою поэзию, в которую вложил свое чувство, свою душу и тоску.. На тюремную песню нельзя смотреть только, как на развлечение заключенных: она выражает суету тех дум, тех ощущений, которые выносит человек в тюрьме и в неволе. Тысячи людей проводили у нас целую жизнь в тюрьмах, на каторгах и в бродяжничестве; в тюрьме создалась своя гражданственность, свой культ; она имеет свою историю, свои предания: как же она могла обойтись без песни?

Я прислушивался часто к этой песне в летние тихие вечера, когда чувство любви к свободе и воле сильнее пробуждается в груди арестанта при виде зеленеющих полей, темно-синего неба и весело порхающих птиц. В это время с окон острога обыкновенно неслись разнообразные мотивы, то цепляясь друг за друга, то перемешиваясь и дробясь, то сливаясь в общую надрывающую сердце мелодию.

В тюремной песне много горького: ее поют с кандалами на ногах удалые добрые молодцы; в ней переливают они свои воспоминания и соображения о своей судьбе, бездольи, о своем прошлом и будущем. Жизнь тюрьмы, бродяжества, каторги и ссылки живо отражается в ней. Можно сказать, что это вскормленное и взросшее в неволе дитя острога. Острожная песня обнимает собственно особый цикл и не может быть смешиваема ни с какою другою. Есть множество песен о тюрьме и наказании, созданных народом, вне острогов и тюрем; но прямо острожная песня разнится от них настолько, насколько ощущения людей свободных при виде тюрьмы разнятся от ощущений и взгляда на нее людей, сидящих в ней. И г. Максимов, включив именно эти древне-

народные песни о казни и тюрьме в число арестантских, — по нашему мнению, допустил большую ошибку.

Конечно, в тюрьме можно слышать и народные песни, но это потому, что разнообразное ее население приносит в нее с собой знание всевозможных песен, начиная с романсов «Ваньки Таньки», «В одной знакомой улице» и т. д. и кончая древними народными песнями и былинами. Оттого у г. Максимова вошли в число острожных песни об Иване Василиче Грозном и о монастырской казне, песня «Уж ты воля моя волюшка дорогая», — которую поет героиня Островского в одной из комедий, — «Гулинька», которая поется в Сибири, — и множество других песен, распеваемых в архангельской губернии и между прочим даже встречающихся в сборнике Сахарова и т. п.; но все это песни не тюремные.

Арестантская песня отличается от всех народных песен своим новейшим складом; она то же самое, что песня мещанская, фабричная, которая носит особую тональность, рифму и подходит к новейшему языку. И это естественно: острог представляет всегда более развитое население, население городское, понятия, вкусы, привычки и воззрения которого выше простонародной среды. Известно, что народ, получая некоторое развитие, не довольствуется уже древним содержанием песен и их формами; ему остаются чужды герои и события времен Владимира-Красна-Солнышка и царя Ивана Васильевича Грозного. Его жизнь течет иначе, и потому, чтобы отражать эту жизнь, ему нужна новая песня и новый язык. Славянофилы у нас были очень недовольны, что новые песни, — большею частью мещанского, писарского и лакейского склада, — вытесняют полные художественной образности древние песни; но что же делать, если простой народ наш при своей малограмотности сталкивается с одной мещанской, фабричной и лакейско-писарской цивилизацией, из среды которой выходят его поэты, и вкладывает в свои дубоватые вирши его современную жизнь? Кто виноват, что для изображения этой жизни он не имеет лучших народных поэтов или они ему неизвестны?..

Во всяком случае, переход от древней песни к новейшей, так называемой мещанской, проявляется везде. В недра про-

стого народа входят понемногу песни фабричные, бурлацкие, солдатские, мещанские и т. п. То же самое замечает Риль и в Германии. Так, он говорит, что с переходом некоторых округов к промышленной и фабричной деятельности, древнегерманская поэзия исчезает и заменяется новой. Вследствие этого же закона прежние народные песни из тюрьмы давно вытеснены. Об этом говорит уже Ф. М. Достоевский в «Записках из мертвого дома».

Г. Максимов глубоко негодует на замен старой народной песни арестантскою песнею нового склада. Действительно, арестантская песня порою нескладна; она не может сладить ни с размером, ни со стихом; содержание ее бедно, прозаично, — слова часто пошлы; поэтому она иногда может оскорблять вкус наш; но нельзя же быть в ней и взыскательным — хоть потому, что эта песня в той или другой форме изображает действительную жизнь народа, жизнь ссыльно-арестантской среды, ее судьбу, ее горе и радости. Притом недостатки формы, слабость или тривиальность словесного выражения и бедность содержания часто выкупаются музыкою песен, тем чувством и душою, с которыми они поются; поэтому многие свободные люди, прислушиваясь к тюремной песне, несущейся из-за стен острога, всегда находили ее глубоко выразительною.

Обратимся теперь к самым замечательным песням острога.

Самою любимою в острогах песнею является «Собачка» или «Последний день». Как известно, это переделка прощальной песни (Good Night) Чайльд Гарольда, заимствованная грамотным народом, вероятно, из перевода Козлова [*]). В

---

[*] Песня эта, как взвестно, у нас переводилась Козловым, М. И. Михайловым», г. Минаевым, Гольц-Миллером, также переведена Мицкевичем на польский язык, но все-таки та роскошь поэзии и полнота картин, которыми обладает подлинник, не были вполне переданы никем. Лучший перевод Михайлова обладает легкостью стиха и чувством, но сокращает картины. Подстрочный перевод Гольц-Миллера подражает подлиннику, но тѳряет легкость и размер. Вероятно, трудность перевода состоит в том, что английский язык слишком сжат и выразителен. Так, например, строки:

этой песне, приноровленной арестантами к их положению, не звучит того гордого горя, той мужественной тоски, которая проникает последнюю песню байроновского героя, покидающего, с гордым хохотом над своею судьбою, постылую родину и силящегося подавить сжимающую его тоску, которая невольно прорывается в его песне; арестантство, напротив, взяло самый нежный и простой мотив ее и запечатлело его одною любовью к покидаемому краю (что вполне соответствует настроению ссыльного); кроме того, варианты этой песни носят следы и тюремного, и ссыльного, и бродяжеского элемента. Вот ее полный вариант, как ее поют арестанты.

Российский тюремный

Ах, в той стране, стране родной,
В которой я рожден,
Терпеть мученья без вины,
Навеки осужден.

Последний день красы моей
Украсит Божий свет;
Увижу море, небеса,
А родины уж нет.

The night-winds sigh, the breakers roar
And shrieks the wild sea-mew

т. е. «Ночной ветер стонет, шумит бурун и дикая морская чайка несется надо мною с пронц[illegible]криком», или

And now I’m the world alone
Upon the wild, wild sea

«И опять я один в мире среди этого широкого, широкого моря», и другие подобные выражения не могли сохраниться со всею силою чувства, полнотою картины и мысли.

Отцовский дом покинул я:
Травою зарастет; —
Собачка верная моя
Завоет у ворот;

На кровле филин прокричит;
Раздастся по лесам;
Заноет сердце, загрустит:
Меня не будет там.

Затем варианты—

Ссыльный сибирский

Не видеть мне страны родной,
В которой я рожден,
Идти же мне в тот край чужой,
В который осужден.

Прощайте, все мои родные;
Прощай ты, матушка Москва!
Пройду я все губерни<и> — города
В оковах, в кандалах.

Наутро рано на заре
Малютки спросят про отца,
Расплачется жена...
Потом и вся семья моя.

Судьба несчастная моя
К разлуке повела,
И разлучила молодца
Чужая дальня сторона!

Бродяжеский вариант

Но исполню я отместку
И назад я ворочусь;
Я, как ворон, прокрадуся
И злодею отомщу.

Песня эта поется с большим чувством арестантами. «Кто-нибудь, — припоминая ее, говорит Ф. М. Достоевский, — в гулевое время выйдет бывало на крылечко казармы, сядет, задумается, подопрет щеку рукой и затянет ее высоким фальцетом. Слушаешь и как-то душу надрывает». *)

В нашей тюрьме слыхал я, как часто пели ее ссыльные арестанты; из них при этом особенно отличался один бродяга,— «Губернатор» (такое прозвище он сам себе дал). Этот «Губернатор» обладал страшным басом, который был слышен по всем углам четырехэтажного острога, когда певцу взбредало на ум произносить многолетия и анафемы разным начальникам. Иногда этот «Губернатор» подбирал человек двух-трех с такими же богатырскими голосами и в коридоре, поражающем резонансом, запевал классическую «собачку». Могучие голоса певцов заставляли дрожать стены, разбивали слуховой барабан и разом брали за сердце; эффект был чудовищный! Но эта песня производит еще более впечатления, когда ее поет ссыльная партия, приближаясь к Сибири, среди темного бора, под звук кандалов и скрип телег; тогда она неотразимо расстрагивает слушателей и часто прерывается неудержимым рыданием женщин.

Из других арестантско-поселенских песен также очень известна «Сидит ворон на березе»; она является в двух вариантах, — российско-тюремном и бродяжеско-ссыльном. В российском говорится между прочим: «Ты зачем, зачем, мальчишка, с своей родины бежал», т. е. оставил свою родину и пришел в ссылку, а в Сибири поется «Ты зачем, зачем, мальчишка, в свою родину бежал», т. е. бежал из Си-

* «Записки из мертвого дома», с. 228.

бири опять в Россию. Часто к ней примешиваются и другие песни, а потому она составляет агрегат, как и приведена у г. Максимова. Наконец, третью, самую популярную песню в остроге составляет песня «О разбойнике». Песня эта поражает с первого раза пошлым набором слов; оттого, когда она попалась нам в одном списке, мы прониклись тем же чувством негодования, какое овладевало г. Максимовым при виде некоторых арестантских песен того же склада; но в один из вечеров мне пришлось услышать ее в неизуродованной форме из уст лучшего тенора нашего острога: в этой форме она по справедливости приковала внимание к себе всего тюремного населения. И напев, и содержание ее трогательны и глубоко потрясают чувство: трудно было не заслушаться ее. У арестантов она производила фурор; ни один звук в многолюдном остроге не прерывал ее, когда она неслась в своей грустной мелодии. Она изображает прощание разбойника перед казнью; он ждет палачей и, не чувствуя никакой к себе жалости, просит жечь, рубить и казнить его, так как он никому не давал пощады.

Я в поле был воин,
Рубил и губил,
В лесах и дубравах
На всех нападал,
Как ворон из тучи
На всех налетал.

Затем разбойник прощается с лесами и дубравами, с широкими полями и дорогою волею.

Теперь бы помчался
К родной стороне
С друзьями б повидался,
Что плачут обо мне.

Но вот застучали приклады у дверей, входят палачи, быстро ведут его на площадь: «позорный пример», заканчи-

вает песня.

Палач размахнулся:
Разбойника нет.

Замечательно, что вся песня проникнута необыкновенным соответствием между музыкальным выражением и идеей. Вы слышите, как в начале ее изливается самое мягкое душевное чувство, какие-то грустные звуки далеких сердечных воспоминаний; но вдруг песня переходит к суровым звукам, холодным, как действительность; затем слышится опять тоскливая замирающая мелодия прощания с родиной и жизнью, и вдруг ее опять обрывает ледяной голос, напоминающий о казни. Там, где говорится: «Но вот застучали приклады у дверей», прерывается последняя предсмертная нота, последняя жалоба; вы чувствуете, что все кончено, и затем быстрый речитатив песни звучит, как беспощадный рокот барабана, бьющего к наказанию. Этот перебой слышится тихо, как будто издали, еще и в самом начале песни, но выступает все ближе и ближе к концу ее; затем, при пении стихов о растворившихся дверях, он вступает уже со всею резкостью. Немудрено, что этот звук, хорошо знакомый арестанту, перенесен им и в песню, переплетенный чувством замирающей тоски, которую он испытывает пред наказанием.

Слова этой песни, как мы узнали после, приписываются разбойнику Латышеву, кончившему жизнь на эшафоте и отличавшемуся музыкальностью и певучестью, как приводит г. Соколовский в его биографии. Кроме этих песен, славится песня о побеге Ланцева из Мосеевского замка, очень известная по своему содержанию и кончающаяся картинным изображением, как беглец благополучно скрывался в темный лес.

Погоня тихо удалялась
И ветер тучи разгонял.

Арестанты со всеми подробностями любят запоминать побеги своих героев; так занесен ими в песню и другой по-

бег бродяги Травина, выехавшего даже из острога в параше, т. е. в некоей бочке. [*])

Затем острог наполняется значительным количеством поселенческих и бродяжеских песен. В этих песнях играет роль большею частью судьба «бедного мальчишки в чужой дальней стороне». Ссыльному достаточно услышать хоть несколько слов в песне «о родине и дальней стороне», как он заносит ее в свой репертуар. Так, например, вошла в употребление песня «В одной знакомой улице» только потому, что тут есть намек о какой-то узнице, сидящей под окном (острог это понял по-своему) и затем слова:

Такие речи дерзкие она твердила мне
О мужестве, о родине, о дальней стороне.

вместо «об обществе, о музыке, о дальней стороне».

Другая песня описывает, как какой-то пошлый франт кутил в маскараде; она также взята из песенника, но к ней арестанты приделали свое дополнение:

Оставайся ты, мой друг, во столице;
Я пойду во Сибирь гулять,
Сквозь железную решетку
Ручку к сердцу прижимать.

---

[*] Песня даже изображает Травина мифическим героем:

Как выехал наш Травин
На охоту сам один;
Как забрал табун Травин
В сорок тысяч сам один.

Затем он попался в острог и наконец бежал.

И выехал наш Травин
Он в параше сам один.

Вообще некоторые песни отличаются крайне сентиментальными выражениями старых песенников, куда вносились разные вздохи старых романтиков. Так, я помню, один старый 50-ти летний бродяга, человек забитый грубою жизнью, мукосей и парий в тюрьме, пел мне необыкновенно заунывным голосом народных песен следующую песню:

Меж гор енисейских
Раздается томный глас;
Тут сидел бедный мальчишка
С превеликою тоской.

Белы ручки свои ломал.
Проклинал свою судьбу.
Ты судьба моя несчастна,
Ты за что разишь меня?

Все люди на воле,
Забавляются с друзьям,
А я, бедный мальчишка,
Заливаюсь горькими слезам.

Бродяга при этом плакал. Он же сообщил мне, что это — песня знаменитого бродяги Светлова, который долго скитался в енисейских горах. Это, может быть, и не правда; но про этого героя много рассказывают бродяги, и лицо это в их рассказах очень симпатично.

Затем следуют песни, написанные слогом солдатских песен; они наполнены описанием случаев из жизни тюрем, побегов, ссылки и бродяжества, также как и их обстановки. Иногда они полны описаний самого процесса наказаний плетьми или шпицрутенами. При этом всегда арестантская песня проникнута глубоким сочувствием и даже нежностью к своим собратьям. Как нежно, трогательно и заунывно звучит эта песня, можно судить по следующей:

Вы бродяги, вы бродяги,
Вы, бродяженьки мои!
Что и полно ж вам, бродяги,
Полно горе горевать:
Вот придет зима — морозы:
Мы лишилися гульбы. [*])
Гарнизон стоит порядком,
Барабаны по бокам.
Барабанщики пробили,
За приклад всех повели;
Плечи, спину исчеканят:
В госпиталь нас поведут.
Разувают, раздевают,
Нас на коечки кладут,
Мокрыми тряпицами обкладают:
Знать, нас вылечить хотят.
Мы со коечек вставали,
Становилися в кружок,
Друг на дружку посмотрели,
Стали службу разбирать:
Вот кому идти в бобруцкий,
Кому в нерчинской завод. [**]).

Вся эта песня носит оттенок братской дружбы и симпатии, порождаемых одной участью, одинаковостью судьбы и единством несчастия. Нечего удивляться, что в арестантскую поэзию входят часто и «мокрые тряпицы» и «машина» и «палач Федька» и т. п. — все это было горькою правдою их жизни. Приемы этой песни, склад ее и сюжет кажутся прозаичны и некоторые любители народных песен все бы еще хотели для эстетического удовольствия, чтобы арестанты пели древнюю разбойничью песню «Не шуми ты, мати зеленая дубравушка». Но ведь это требованье решительно неуместно, когда прежняя жизнь давно уж отлетела от народа:

---

[*] Осенью бродяги принуждены идти в деревни и там попадаются или просятся в остроги.
[**] Смотри бродяжескую песню в статье о бродягах.

теперь не то время, когда гордый разбойник, как царь лесов, гордо выражал свою волю и считал себя вправе переговариваться с правительством; нынешнему преступнику, подавленному силой государственной, трепещущему перед судом, приходится только оплакивать свою судьбу да выражать свою жалкую участь в тюрьме и в бродяжестве. В песне теперь и выражается большею частью простое горе: то ссыльный прощается с милой, отправляясь в Сибирь, с папенькой и маменькой, которых больше не увидит, — то описывает, как его секут, лечат в лазарете, наказывают на кобыле, — наконец, наивно рисует свое нищенство в бродяжестве, как он именем христовым «хлеба соли наберет, в баньку ночевать пойдет» *. Такой сюжет песни и выражение ее кажутся пошлыми эстетикам; они находят, что это похоже «на кисло-сладкие романсы». Но «кисло-сладкие романсы» песенников воспевают печаль глупую, беспричинную, вымышленную, арестантская же песня — действительное горе, как бы оно там ни было сентиментально выражено. В народной песне нельзя быть строгим к форме. Есть, например, песня горных рабочих, где говорится:

Как в *фонталы* воду пустят,
Наше сердце приопустят.

Неужели же приходится смеяться над этими *фонталами*, ведь это бы вышло пошлое глумленье. Точно так же извинительны разные неправильности и в тюремной песне; она все-таки есть выражение истинных чувств и положения тюремного населения. Как бы ни выражались эти чувства народного горя, — они выношены, пережиты, выстраданы; поэтому к ним нельзя относиться с эстетической брезгливостью и взыскательностью.

Перейдем к следующему циклу песен. История преступления редко фигурирует в каторжных и бродяжеских песнях, — вероятно, потому, что ссыльные не слишком любят вспоминать про это; по крайней мере, мы не часто слышали

---

* Вполне приведена эта песня у г. Максимова.

их в ссыльном остроге. Но зато такие песни чаще попадаются в тех местах, где люди судятся впервые за преступления, например, в российских замках. Песни, имеющие предметом эпос преступления, обыкновенно быстро расходятся и в народе, в особенности же в тех местностях, где преступление совершено. Самая популярная, разошедшаяся по всей России и Сибири и даже проникшая к обрусевшим киргизам, — песня про убийство на нижегородской ярмарке дочери купца Сафронова: ее поют повсюду. Склад этой песни запечатлен характером древнего народного творчества; первые строфы ее превосходны и веют неподдельной поэзией старорусской песни.

Вот песни, который нам случилось слышать в России и которые, кажется, не были еще записаны.

Песня саратовского арестанта

То ли, что ли, ну-тко что ли!
Гулял молодец на воле;
Гулял молодец на воле,
А теперь он во неволе.
Как сказали про мальчишку,
Что отцовский дом поджег, —
Не за то ли посадили
Во саратовский острог.
Скучно было сидеть мне
Во саратовской тюрьме,
Что никто того не знает,
Чрез кого я пропадаю!
Пропадаю я, мальчишка,
Через родного отца,
Через родного отца,
Через тестя подлеца,
Через мачиху лихую,
Чрез женёнку молодую.

Долго ль, долго ль, не дождуся
К себе грозных палачей?
Я тогда же разочтуся
Со судьбою со своей.
Как и дню-то второй час,
Поведут к допросу нас.
Не успел промолвить слова, —
Тут колясочка готова,
Черной краской раскрашена,
Черной краской раскрашена,
У ней пара заложена.
Посадили молодчика,
Его задом наперед; —
Тут восплакал весь народ.
Повезли тут молодчика
В неизвестные места,
Ко незнамому селу,
К черному столбу.
Тут явились мастера,
Засучали рукава.
Палач скоро подбежал,
Рубашонку разорвал;
Рубашонку разорвал,
Белый саван надевал.
Меньше году просидел,
Ко расстрелу подоспел.

Эта история поджигателя. Вот другая история преступления из другой местности России.

Во сторонушке ночной
Что наделалось весной
Во приходе — во Кромах
Стали резать во дворах,
В деревнюшке Врусове,
На задворке в улице,
В маршалевой горнице:

Гриша, Гриша Маршалев
Во постелю вечно лег.
Он не сам собой ложился, —
От своей подлой жены:
Его подлая жена
С Гриши голову сняла;
Сын еще смерти прибавил,
Больше молотом набавил.
Со той ли, со беды садились на лавочку,
Садились на лавочку под красное окошечко,
Стали думать да гадать,
Нам куда тятьку девать.
«Не шути-ко моя мать,
Не горюй-ко моя мать:
Уж я эту ли беду,
Беду в *Ланды* отведу,
Я по мыцкой по дорожке
И под Ландинский мосток,
Под мосток, мосток, мосток,
Тятю с камнем положу:
Ты лежи, лежи-ко, тятя,
Лежи, тятенька родной:
Придет полая вода,
Унесет тебя с собой.
У Параши [*]) сердце чует;
В целике [**]) Гришка ночует.
Парашенька рыскала,
Своего Гришеньку искала.
«Ах нам пятница приходит,
Нам солому набивать:
Надо в Ландах побывать».
Не солому продавать,
Надо тятю повидать.
Он приехал на гору
Ко Цареву кабаку.

---

[*] Параша, как говорят, была любовница Маршалева.
[**] В целике, в сумете.

Ребятеночки гуляли
И ледянки вырубали, —
Тут Платошу *) увидали,
Все домой понабежали
И отцам порассказали,
Где Платошу увидали.
На нем шапочка с кистям,
А за ним домой с вестям.
На широкий его двор
Наезжает становой.
Ему рученьки связали,
Резвы ноженьки сковали,
Во Владимир повезли,
Во Владимирской острог,
Посадили на годок.
«Я не стану год сидеть;
В палачи я поступлю,
Свою мать я засеку».

Местами в этих песнях мы замечаем какое-то необыкновенно легкое отношение к преступлению, а иногда песня сопровождается каким-то плясовым напевом, например:

Ты лежи-ко, лежи, тятя,
Лежи, тятенька родной!

Подобное же веселое и даже юмористическое отношение при описании преступления мы находим и в другой песне, которая сложена про преступление в нижегородской губернии в Городце, преступление, даже, как видно, поразившее народное воображение.

* Платоша – сын, убивший отца. Он едет справляться о трупе на замерзшей реке; но его тут застают ребята, рубившие лед, и слух об убийстве распространяется.

Уж как было в Городце
В самой улицы конце,
Как ни думать, ни гадать,
Убил сын родную мать;
Не святым убил он духом,
А простым ее обухом.

Далее описывается, как убийца стащил труп в полынью, привязал камень и «бранным словом прикрепил».

Здесь, моя родная мать,
Будешь вечно ты лежать;
Ты лежи, родная мать:
За тебя буду страдать.

Затем описывается с фотографическою точностью, как убийца затирает кровавые пятна чернилами, ломает сундуки, покупает ведро вина и приглашает приятелей кутить. Замечательно, что, несмотря на внешние подробности, в этих песнях ни слова не поминается о мотивах преступления; во всех песнях преступник обыкновенно винит, как причину своего несчастия, разные косвенные обстоятельства и посторонних лиц, но никогда себя. Так, в одной песне он жалуется, что «загубила молодца чужа дальня сторона, макарьевска ярмарка», в другой винит «тестя подлеца», «мачиху лихую» и женёнку молодую» (в песне саратовского арестанта). Наконец, в песне владимирской сын винит мать, которая подбила его убить отца и т. д. Особенной драматичности и грусти в песне о преступлении мы решительно не замечаем. Напротив, все эти песни поются в народе хором; мотив их — живой и веселый. В мотивах этих песен мы можем отгадать их характер только разве при хорошем выполнении их и когда они поются с особенным чувством. Мы сошлемся на известную музыку песни про убийство на нижегородской ярмарке.

«Как под липой, под липой
Стоял парень молодой».

Она поется хором, с присоединением бубна, скрипок и гармоний необыкновенно весело; но нельзя не заметить, что во всей песне слышится тяжелое раздумье, местами какая-то ноющая и расслабляющая тоска, которая то на минуту овладевает песней под влиянием описываемого положения, то быстро переходит к самому неудержимому веселью и разгулу, силящемуся подавить внутреннее чувство. Тем же отличается песня, как мы слышали, саратовская:

То ли, что ли, ну-тко что ли!
Гулял молодец на воле,
Гулял молодец на воле,
А теперь он во неволе.

Она начинается самым разудалым и беззаветным мотивом как будто с энергией внезапно оживившегося и тряхнувшего кудрями молодца, но вслед за этим этот разудалый мотив получает какой-то унылый оттенок и постепенно падает по мере того, как «бедный мальчишка» описывает судьбу свою и приближается к описанию наказания. Поэтому едва ли в подобных песнях, распеваемых с громом и аккомпанементом торбанов и тарелок, можно видеть одну шумиху и пошлое извращение вкуса [*]). В них пробивается своя музыкальная идея. Такое сочетание самого забубенного веселья, сливающегося местами с ноющей грустью, в русских песнях нередко можно встречать; оно придает музыке какую-то своеобразную прелесть и колорит: такие контрасты, вероятно, всего более соответствуют вкусу народа и его темпераменту. В подобных песнях выражается как будто стремление «закрутить горе веревочкой», «размыкать», «разгулять» его; потому-то, вероятно, слышатся в них иногда порывы к самому бешеному и страстному разгулу, хотя в то же время истинное внутреннее чувство, невольно прорываясь в песне, выдает надрывающее и щемящее сердце горе. Таково, может

[*] См., между прочим, замечания г. Максимова, ст. 380 т. 1 «Сибирь и каторга».

быть, и есть свойство нашего национального горя *). Музыка острога поэтому заключает свой смысл, а к ее словам мы должны иногда снисходить, как к обыкновенным недостаткам либретто.

Но тюремная песня не всегда страдает нескладицей и носит печать писарской и лакейской подделки. Это была только ее историческая переходная форма; поэзия тюрьмы быстро совершенствовалась. Это зависело от уровня образования тех лиц, которые сюда входили; в числе терпящих наказание были ведь и образованные люди. Даже в старинное время некоторые бродяжеские и тюремные песни отличались безукоризненной отделкой по внешней форме и верностью стиха, как известная песня, или скорее стихотворение:

Славное море — привольный Байкал, **)
Славный корабль омулевая бочка и т. д.

Во всех этих песнях и стихотворениях, написанных с тщательной отделкой, г. Максимов видит только искусственную подделку под арестантский тон какого-нибудь «барина, который снизошел к арестантам, подобно столичным стихотворцам, пишущим стихи клубным швейцарам и банщикам»; но, по-нашему, только славянофильские тенденции этнографа и его воззрения на народ не позволили ему видеть того важного явления, что в тюрьму проникали с теченьем времени лучшие элементы, лучший вкус, — в тюрьму попадали и более развитые люди, и лучшие книги современной литературы. Хоть случайно, но заносились сюда и были известны арестантам произведения Пушкина, особенно «Братья разбойники» (их декламируют поселенцы), стихотворения Кольцова, романсы Варламова и т.п. Известно, по свидетельству очевидца, что когда вышел «Мертвый дом» Достоевского, в одной тюрьме он был выучен наизусть; в другом замке мы

* Мы уверены, что чуткие к народной песне музыканты, как напр. г. Балакирев, нашли бы в такой песне глубокий музыкальный смысл.

** Помещена в первый раз у г. Грицко в «Современнике», также у г. Максимова.

встретили пожертвованную каким-то старым чиновником, за ненадобностью ему, библиотеку лучших современных журналов, которую арестанты читали и перечитывали, и многое даже выучили наизусть; наконец, у арестантов в последнее время распевались даже стихотворения Михайлова из тюремной жизни, который не писал стихов для банщиков. Все это доказывает, что лучшие вкусы проникали к арестантам непосредственно путем литературы. Они постепенно освоились с пушкинской, лермонтовской и кольцовской поэзией; она им нравилась и проникала в их среду; таким образом, под влиянием литературы могла улучшаться и острожная песня, — могли вырабатываться произведения более совершенные, чем мещанско-писарские.

На каторге в прежнее время писались стихотворения, складывались легенды, сатиры и т. п. языком чисто книжным; порывшись в преданиях каторги, можно было бы отыскать их немало. Вот, например, образчик, который нам случилось найти: это — описание одного из старых событий прежней каторги, неизвестно кем написанное стихами в сатирическом роде. В этом стихотворении видно настолько же влияние современного сатирического стиха и склада, как и след самородного арестантского элемента и его образа выражения. В то же время, эта арестантская поэма может служить доказательством для наших этнографов, как в самых насмешливых и забавных народных стихах может заключаться самая трагическая сторона жизни. Вот это описание события на каторге, может быть, несколько и преувеличенное в стихах. Мы осмеливаемся его представить потому, что оно ныне уже составляет историческую древность, так как это случилось лет 20 с лишком тому назад, следовательно, не имеет ничего общего с нынешним положением каторжных [*]).

[*] Об этом событии на каринских промыслах, где в одно время было согнано множество каторжных и где они умирали от голода и тифа, говорится и у г. Максимова. См. «Сибирь и каторга», част. III «История каторги».

Историческая Быль 18 . . . года

Как в недавних-то годах,
На каринских промыслах
Царствовал Иван,
Не Васильевич царь грозный,
Инженер был это горный
Р. . . . . . в сын.
В наказанье сего края
Его бросило с Алтая,
Видно за грехи.
Он с начального вступленья
Генералу донесенье
Сделал от себя:
«Кара речка так богата, —
В один год пудов сто злата
Я берусь намыть».
Им представлена и смета,
И с весны того же лета
Начался покос.
Со всех рудников, заводов,
На турецких как походах,
Партиями шли.
Лишь вода в Каре открылась,
Тысяч пять зашевелилось
Рабочих людей.
Р. . . . . . в всех ласкает,
Всем награду обещает,
Кто будет служить.
За тюрьмою и за пищей.
Он следил как гривны нищий:
Спасибо ему!
В службе строгий ввел порядок
Каждый делал без оглядок
Что б ни приказал.
Но заглянем мы в разрезы,
Где текли ручьями слезы,

В мутную Кару.
На разрезе соберутся,
Слезой горькою зальются,
Лишь примут урки.
Попадет сажень другая,
Одна голька лишь сливная,
А урок отдай!
Не берет ни клин, ни молот,
А к тому ж всеобщий голод
Сделал всех без сил.
Сильно машины гремели,
А толпы людей редели,
Мерли наповал.
С кого рубль, полтину взяли
И работу задавали
В половину тем.
Но хоть дух сейчас из тела,
Им как будто нет и дела,
Если кто не даст.
Как работы работали;
Зарывать не успевали
Мертвые тела.
Всяку ночь к белу рассвету,
И с работы, с лазарету
Убыль велика.
Трупы те в амбар таскали
И в поленницы там клали
На обед мышам.
Да и мертвых уже клали
Не в гроба, а зарывали
Просто без гробов.
Оказалося, что власти (*горные*),
При такой большой напасти
Спутались совсем.
Мертвых в табель отмечали,
Содержанье назначали,
А живых долой.

Тюрьмы смотритель К . . . . . . в
На умерших удальцов
Получал провьянт.
А кан. . . . . . и комиссары
Мертвых, как живых, писали «выдана даба» *)
За работою следили,
А в ключевке положили
Тысячи больши.
Кто с печали, кто с заботы;.
Больше с тягостной работы...
Вечный им покой!
Положенья не намыли,
До 3000 схоронили...
Вот были года!

Такие стихотворения были не в редкость в каторге. Тем же размером мы нашли описанными и другие события каринского промысла, так же как и восхваления доброго начальника, прибывшего вслед за известным Раз – – вым. Но литература каторги даже на этом не остановилась; у ней явились еще лучшие образчики. Что тюремная поэзия в последнее время вкладывалась уже в новые формы языка, доказательством тому могут служить произведения другого каторжного поэта, — не какого-нибудь барина, а человека, недалеко ушедшего от народа. Людей, обладающих некоторыми поэтическими талантами, бывало, конечно, и прежде немало в каторге, но они выражали свою жизнь в старой поэтической форме, в форме отсталой от просвещенных классов; в последнее же время начали появляться поэты, обладающие совершенно безукоризненными формами стиха и подходящие под уровень современной литературы. Образчики этого просвещенно-народного творчества очень любопытны. Мы в этом случае осмелимся привести стихотворения каторжного поэта Мокеева, которого тетрадка нам попалась в России. Об

* Бумажная материя.

этом поэте упоминает и г. Максимов в описании каторги *). Вот биография этого поэта. Бедный Мокеев пришел в Сибирь по делу об ограблении и умерщвлении, в котором он однако не участвовал. Он был купеческим сыном и буйно проводил свою молодость. При недостатке денег, закутившись, он натолкнулся на каких-то негодяев, которые решились совершить грабеж на большой дороге; во время предприятия они в борьбе убили свою жертву; Мокеев был свидетелем и не донес, это и послужило поводом к его ссылке. Такая судьба не редкость в среде ссыльных: множество замотавшихся купеческих сынков делаются соучастниками преступлений, — и примеров этому приведено много даже и в наших очерках. Но Мокеев, как видно, был из них самый невиннейший и наименее испорченный. В своих стихотворениях он глубоко кается в своей веселой жизни во время молодости; самый кутеж признает он преступлением; «я вор; я вор родного», говорит он, намекая на свое мотовство. Родные и их интересы остаются для него всегда священными. Пришедши в каторгу, он работал на петровском заводе и на рудниках на Коре. Здесь-то он и проявил свой поэтический талант, посвятивши его описанию арестантской жизни, ее горю и страданиям, которые он сам разделял с другими. Участь его была обыкновенная, тяжелая каторжная участь, как видно из стихов.

Вставал с слезами на заре,
Ложился спать в заботах...

Окончивши срок, как видно из той же его стихотворной биографии, он пошел искать работы по Забайкалью, но, — как бедный ссыльно-каторжный везде в пренебрежении, везде в загоне, — не мог ничего добиться. Наконец, его охватила общая болезнь всех поселенцев — «тоска по родине». Эта тоска, постоянная жалоба, и отчаянно-безнадежное положение ссыльного выражается во всех его стихотворениях.

---

* «Сибирь и катор.», ч. I, с. 98, 99.

Нет, прошла, знать, жизнь моя;
Я свое отжил;
Хотя на свободе я,
Но без всяких сил.

. . . .

И далее:

Я изгнанник родины;
Мне не быть на ней.

Это ядовитое сознание невозможности увидеть когда-нибудь родину, вместе с чувством глубокой скорби и раскаяния за свою молодость, все более и более растравляло жизнь этого человека. Мокеев ударился под влиянием этой тоски в запой; он блуждал по городам, по базарам, прося милостыни, — как рассказывает сам, — валялся в больнице, должно быть, в белой горячке, и жизнь смололась. Стихотворения его начали мельчать; в них он начал себя выставлять забитым, униженным и смотавшимся безнадежно. Г. Максимов застал этого, по виду скромного и тихого человека, в безнадежных запоях. Несмотря на то, что он иногда получал деньги от родных, что не раз пристраивался к месту у сибирских купцов, которых он местами воспевает, он не мог однако до последнего времени ужиться в Сибири. Он постоянно терзался мыслью, что «отца, брата, мать родную должен схоронить в живых», т. е. не видать, «забыть подругу детства» и т.д.; он решил, что нет ему места в чужой стороне, нет крова, и эта мысль постоянно его преследовала. Таким образом, Мокеев был чисто ссыльным поэтом; он не только изображал каторгу в прежней ее форме с каторжным житьем простого человека, но он испытывал всю участь поселенца в Сибири, смотрел на жизнь глазами ссыльного, испытывал все его чувства, все муки и всю раздирающую боль изгнания. Поэтому все его произведения проникнуты глубокою жизненною

правдою. В то же время этот арестантский поэт, вышедший из народной среды и писавший для простого народа, как видно, уже находился под обаянием новой литературы; у него видно близкое подражание Пушкину, Лермонтову, Жуковскому, Полежаеву и Кольцову. Стих его до того близок к этим поэтам, что иногда решительно невозможно отличить его подражаний от оригиналов, но рядом с этим перемешиваются и стихи, напоминающие склад прежней арестантской песни и ее арестантский язык. Точно так же наряду с прекрасными и выдержанными стихотворениями попадаются лакейские и писарские вирши, имеющие сюжетом — лесть благодетелям, выпрашиванье двугривенного, воззвание к водке и т.д.

Вот, например, замечательное по безукоризненности стихотворение:

Узник

Что не вольная пташка в клеточке,
И не робкая рыбка в неводе,
Грустит молодец в тюрьме каменной
За железною за решеточкою.

После горьких слез, после мрачных дум
Добрый молодец вспомнил родину,
Вспомнил юные дни невозвратные,
Когда жил еще с отцом с матерью.

Ах, ты молодость, жизнь прошедшая.
Жизнь прошедшая — подневольная!
Ты успела лишь обольстить меня
И сокрылася за сини-моря.

Для кого же я по ночам не спал?
Кому сыпал я сребро-золото?
Не тебе ли я буйной-ветреной
Платил дань не раз почти жизнью?

Такие стихи острожного поэта напоминают вполне стихи Кольцова и Полежаева, напр. стихотворение «у меня ли молодца ровно в двадцать лет, со бела лица спал румяный цвет» и т.д.

Подобными же стихами поэт описывает самую жизнь арестантской среды. Таково, например, описание предчувствия арестанта перед наказанием. В этом же стихотворении необыкновенно верно изображено прежнее наказание, известное под именем «Зеленой улицы», столь часто встречающееся в арестантских стихотворениях и взятое тюремным поэтом, вероятно, из живых рассказов, если не самим испытанное.

Ночь перед наказанием

Месяц в небе возвестил
Час полуночи глубокой
И случайно свет пролил
В свод тюрьмы моей жестокой.
Грусть чугунною плитой
Налегла ко мне на грудь,
И без страха я не мог
Сердцем трепетным вздохнуть.
Бьет полночь; никто ни слова;
Всюду спали крепким сном;
Только оклик часового
Раздавался под окном.
Ветер вольный, ветер сильный
По корридору шумит.
А сердце вещее дрожит
И будто ждет чего-то злого,
И на слова мои ни слова
Мой часовой не говорит.
Проходит ночь; душа скорбит…
Рассвет мне страшен, как могила.
Чего же сердце так заныло?
Скажи, чего тебя страшит;
Скажи, чего тебя пугает!

А вот и описание казни.

На место казни я пришел;
Со всех сторон толпы бежали.
Определенье мне читали:
Четыре тысячи пройти
И вечно чтоб в Сибири хладной
В работе каторжной пробыть.
Я слышал приговор ужасный.
Потом, «Повзводно» — закричал
На офицеров батальонный.
Склоня я голову стоял
Угрозы слушал я невнятно

. . . .

Раздали палки по рядам,
К прикладам руки привязали,
«Дробь» — барабанщикам сказали;
В моих глазах померкнул свет.
Иду в рядах; пощады нет;
Удары сыплют в спину градом,
А я без чувств верчу прикладом.
Прошел 500, — ходить не мог.
Не раз меня сбивали с ног,
Не раз водой меня полили.
Начальник закричал: «Отбой!»
Тряслися ноги подо мной;
Дыханье я переводил;
Не то был мертв, не то был жив;
Не знал, что делалось со мной.
И долго в забытьи я был...
Тогда лишь принял мало силы,
Когда мне фельдшер кровь пустил

. . . .

Чрез час в больнице я лежал;
За мной товарищи ходили.
Ни дня — ни ночи я не знал,
Не мог сидеть, не мог ходить,
С трудом лишь мог проговорить,
Чтоб мне рубашку намочили.

Это стихотворение, по-видимому совершенно выдержанное, внезапно оканчивалось словами на манер арестантской песни:

Так десять дней ее мочил (рубашку)
И облегченье получил.

Много глубины чувства встречаем мы в стихотворениях Мокеева, посвященных его личным воспоминаниям. Таково напр. описание чувств ссыльного при оставлении родины. Стихотворение это начинается подражанием пушкинскому «прости, Москва», мы его не вносим, но вот оригинальные его строфы:

Последний раз «прости» родному
Приюту должен я сказать,
Последний раз кресту златому
Приходской церкви долг отдать.

Сказав «прости», не тройкой мчаться
Мне суждено по столбовой, —
Идти в цепях, душой терзаться
С полуобритой головой.

И на этапах в казематах,
В сырой забившись уголок,
Мечтать о доле невозвратной
И слезы лить на злобный рок.

Прости отчизна, край отрадный!
В изгнанье вечно я решен,

Туда, где россыпи ужасны,
Как башни, где хребты стоят,

Где нет невинных развлечений,
Равнин, украшенных полей,
И где упреки и презренья
Должно нести душе моей.

Там буду жить с подругой-скукой,
Вдали от милых, сиротой,
С воспоминаньем и разлукой
Страдать в работе вековой!

Вот как автор изображает судьбу свою в ссылке:

Из жизни ссыльного

За преступленье я лишен
Отечества святого,
И нить влачится бытия
Среди чужого крова.

Чужие нравы и народ…
Обычай встретил новый;
Не тот лазурный небосклон
И климат уж суровый…

В Петровском был и на Коре
В тяжелых я работах,
Вставал с слезами на заре,
Ложился спать в заботах.

В тюрьме сидел и вольно жил,
Тянулся год за годом.
Надежды я похоронил
Под чуждым неба сводом.

Тянулись так пятнадцать лет...
Надежда появилась,
Мелькнул погасшей жизни свет,
Свобода мне открылась.

Я взял билет и с ним пошел,
Летел я вольной птицей,
С ним проходил хребты и дол —
Станица за станицей.

Куда ж, зачем? и сам не знал;
Тащился я усталый.
Нигде привет меня не ждал
В одежде обветшалой.

Войдешь в станицу и с трудом
Ночлег найдешь с приветом.
В другой всю ночь из дома в дом
Проходишь до рассвета.

Глядят с презреньем на меня;
Не видно сожаленья, —
И час от часа, день от дня
Я чуждый стал терпенья.

Не мил и божий свет мне стал
И в тягость увольненье.
Я шел вперед и рассуждал:
«Ах, где стряхну мученье!»

В деревне жить, пахать, косить
От роду я не знаю
Снопы вязать и молотить
Совсем не понимаю.

Далее мы извлекаем следующие лучшие строки, где поэт жалуется на бедность.

О бедность, бедность, недруг злой!
Твоя волшебна сила,
Ты сколько гениев, с тобой
Сроднившихся, стемнила!

Орел парит до облаков.
Чей взор с его сравнится?
Подрежь крыло, — он не таков,
Не та уж будет птица.

Он вместе с курами живет
И с робостью шагает;
Сердитый гусь его клюет;
Петух его пугает.

Такая ж доля бедняка:
Он вянет в самом лете,
Когда могучая рука
Сжимает его в свете.

В этом, хотя и несовершенном, стихотворении вполне верно рисуется судьба поселенца в Сибири, который не знает, куда деваться, которому Сибирь противна, люди и местность чужды, и где ему, по получении свободы, становится «не мил божий свет» и «в тягость увольненье».

Поэзия Мокеева в этом случае превосходно изображает поселенческое или ссыльное миросозерцание. Антипатия его к Сибири, как к стране ссылки, проявляется у него везде; поэт изображает ее «холодной» и «ужасной»; он видит здесь

Не тот лазурный небосклон
И климат уж суровый,

хотя Забайкалье в южной Сибири и отличается мягким и прекрасным климатом. Поэт говорит, что он осужден

Туда, где россыпи ужасны, —
Как башни, где хребты стоят,

«Где люди, как звери, опасны
И правых без вины винят».

Несмотря на то, что в своих стихах он воспевает гостеприимство и покровительство многих благодетелей из сибирских жителей, — взгляд на Сибирь и сибиряков у него остается озлобленным. Нравы ему крайне чужды и противны; «чужие нравы и народ, обычай встретил новый», пишет он. Его поражает, например, карымский чай или *ватуран* (чай с маслом, молоком и солью), который употребляют жители Забайкалья. «Я все привык переносить» — говорит ссыльный,

Но не могу сносить я муки:
Карымский чай с кумиром пить.

Ссыльному все кажется дико и глупо; все его мучит, даже «карымский чай»; вся Сибирь для него как будто только один коринский рудник, окруженный хребтами. В своей ненависти к стране ссыльный поэт доходит даже до того, что влагает свое чувство ветру, который говорит:

Определен был небесами
Я парус в море навевать;
Мне душно здесь между горами
В Сибири хладной завывать.

А потому ветер так же хочет в край родной, как и ссыльный. Такая черта в высшей степени характерна. Подобные чувства наполняют всех поселенцев в Сибири. Место изгнания всем им одинаково противно. У поэта присоединяется к этому бедственное положение, бедность и наклонность к крепким напиткам. Он так же не умел, как все поселенцы, «в деревне жить, пахать, косить, снопы вязать и молотить»; зато тем неудержимее влечет чувство поэта к воспоминаниям и к родной местности. С необыкновенно теплым чувством он обращается к ним.

Я описал бы все полней
И в рифме больше бы явилось,
Когда б спокойствие ко мне
Хотя на миг бы возвратилось,

Хотя на миг бы мог забыть
Родимый край и кров священный,
Или *надеждою* мог жить,
В глуши Сибири отдаленной.

Да, мне надежд счастливых нет.
Прости, прелестное былое!
Знать, прежних дней и прежних лет
Не возвратит ничто земное.

Эта безнадежность ссылки именно и составляет самые жгучие страдания ссыльного в Сибири. Вот прекрасные поэтические строфы, навеянные этими же чувствами.

Как же мне не грустить
О прошедшей весне?
Мое сердце болит
О родной стороне.

Оглянусь я в ту даль,
Даль глубокую,
Где девицу любил
Черноокую,

Ее локон кудрей
Целовал-миловал,
И слезинку с очей
Пил, как нектар святой.

Я могу не грустить
Лишь в забвеньи одном;
Научите ж забыть
О былом, о родном!

Это стихотворение даже безукоризненно-прекрасно. Наконец, вот еще стихотворение, замечательное по выработанной форме стиха, написанное в виде эпитафии арестантам и, как видно, относящееся к тому старому времени, когда для преступников еще не было отменено телесное наказание:

Спите, трупы под землею!
Сон ваш мирен и глубок;
Ни с несчастьем, ни с бедою
Незнаком ваш уголок.
Мать сыра земля — защита
Вам от гибели прямой;
Ею ваша грудь закрыта;
Вы не встретитесь с бедой.
Недоступны вам раздоры;
Стон не встретит вас ничей;
Там не встретят ваши взоры
Кнут и грозных палачей.

Подобные стихотворения ясно показывают, до какого совершенства уже достигла поэтическая форма в арестантско-народном творчестве.

Такими стихами пушкинско-лермонтовского склада описывалась судьба простого арестанта, его горе и несчастия, и эти стихи составляли исключительное достояние каторги. Арестантская среда показала этим, что она может не только давать даровитых поэтов, но и понимать прелести нового литературного стиха и быстро осваиваться с ним.

На переход старой русской народной песни к новому, хотя и неудовлетворительному стилю, нельзя поэтому смотреть как на регресс и на утрату поэтического чутья в народе, как уверяли славянофилы, а за ними утверждает и г. Максимов. Неудовлетворительная стихотворная форма мещанских, фабричных, солдатских, писарских, лакейских, а затем и арестантских песен есть только первая подражательная форма новой литературной поэзии. Это, так сказать, только пена, прибиваемая к народной жизни из просвещенных слоев общества, за которою должны следовать более чистые волны, принося-

щие ей вполне выработанный литературный стих — наследство лучших поэтов. Центр просвещения, моды, инициативы находится теперь в просвещенных классах общества; отсюда постепенно распространяется цивилизация, охватывая разные слои народа и ассимилируя в себя его лучшие силы. Народ перестает ныне жить своею самобытною, замкнутою жизнью, как прежде. Пропасть, отделяющая его от просвещенных классов, все более уменьшается; поэтому склад просвещенной жизни, привычки, нравы, литературный язык и литературная форма поэзии должны все более проникать в него. Что теперешняя подражательная поэзия есть только переходная форма и что народ готов перейти к формам языка и поэзии, выработанным нашею литературою, при первой возможности, — это доказывается историею острожной песни и тюремного творчества. Затем не столько нужно печалиться о том, что наш народ оставляет древнерусские формы поэзии, сколько содействовать его переходу к новейшим образцам, для чего необходимо дать ему поскорее возможность познакомиться с сокровищами наших лучших поэтов. Дай только Бог, чтобы в новых формах народ мог выражать лучшие и более отрадные явления своей жизни, чем те, которые отмечены в оканчивающей свое существование арестантской песне.

ПЕСНИ КАТОРГИ

Замечательно, — даже страшная сибирская каторга былых времен, мрачная, жестокая, создала свои песни. А Сахалин — ничего. Пресловутое:

«Прощай, Одеста,
Славный (?) карантин,
Меня посылают
На остров Сахалин»...

кажется, — единственная песня, созданная сахалинской каторгой. Да и та почти совсем не поется. Даже в сибирской каторге был какой-то оттенок романтизма, что-то такое, что можно было выразить в песне. А здесь и этого нет. Такая ужасная проза кругом, что ее в песне не выразишь. Даже ямщики, эти исконные песенники и балагуры, и те молча, без гиканья, без прибауток правят несущейся тройкой маленьких, но быстрых сахалинских лошадей. Словно на козлах погребальных дрог сидит. Разве пристяжная забалует, так прикрикнет:

— Н-но, ты, каторжная!

И снова молчит всю дорогу, как убитый. Не поется здесь.

— В сердце скука! — говорят каторжане и поселенцы.

«Не поется» на Сахалине даже и вольному человеку. Помню, — в праздничный какой-то день из ворот казарм выходит солдат — конвойный. Урезал, видно, для праздника. В руках гармония и поет во все горло. Но, что это за песня? Крик, вопль, стон какой-то. Словно вопит человек «от зубной боли в душе». Не видя, что человек «веселится», подумать можно, что режут кого. Да и не запоешь, когда перед глазами тюрьма, а около нее уныло, словно тень, в ожидании «заработка» бродит старый палач Комлев.

— Ты зачем пришел с поселья?

— Слыхал, что вешать будут. Думал три целковых заработать. Без меня некому.

В тюрьме поют редко. Не по заказу. Слышал я раз пение в Рыковской «кандальной».

Дело было под вечер. Поверка кончилась, арестантов заперли по камерам. Начальство разошлось. Тюремный двор опустел. Надзиратели прикурнули по своим уголкам. Сгущались вечерние тени. — Вот-вот наступит полная тьма. Иду тюремным двором, остановился, как вкопанный. Что это, стон? Нет, поют.

Кандальники от скуки пели песню сибирских бродяг «Милосердные»... Но что это было за пенье! Словно отпевают кого, словно похоронное пенье несется из кандальной тюрьмы. Словно отходную какую-то пела эта тюрьма, смотревшая в сумрак своими решетчатыми окнами, — отходную заживо похороненным в ней людям. Становилось жутко...

«Славится» между арестантами, как песенник, старый бродяга Шушаков, в селении Дербинском, — и я отыскал его, думая «позаимствоваться». Но Шушаков не поет острожных песен, отзываясь о них с омерзением.

— Этой пакостью и рот поганить не стану. А вот что знаю — спою.

Он поет тенорком, немного старческим, но еще звонким. Поет «пригорюнившись», подпершись рукою. Поет песни своей далекой родины, вспоминая, быть может, дом, близких, детей. Он уходил с Сахалина «бродяжить», добрался до дому, шел Христовым именем два года. Лето целое прожил дома, с детьми, а потом «поймался» и вот уж 16 лет живет в каторге. Он поет эти грустные, протяжные, тоскливые песни родной деревни. И плакать хочется, слушая его песни. Сердце сжимается.

— Будет, старик!

Он машет рукой:

— Эх, барин! Запоешь, и раздумаешься.

Это не человек, это «горе поет!»

Но у каторги есть все-таки свои любимые песни. Все шире и шире развивающаяся грамотность в народе сказывается и

здесь, на Сахалине. Словно слышишь всплеск какого-то все шире и шире разливающегося моря. В каторге очень распространены «книжные» песни. Каторге больше всех по душе наш истинно народный поэт, — чаще других вы услышите: «То не ветер ветку клонит», «Долю бедняка», «Ветку бедную», — все стихотворения Кольцова.

А раз, еду верхом, в сторонке от дороги мотыгой поднимает новь поселенец, пòтом обливается и поет: «Укажи мне такую обитель» из некрасовского «Парадного подъезда». Поет, как и обыкновенно поют это, на мотив из «Лукреции Борджиа».

— Стой. Ты за что?

— По подозрению в грабеже с убивством, ваше высокоблагородие.

— Что ж эту песню поешь? Нравится она тебе, что ли?

— Ничаво. Промзительно!

— А выучился-то ей где?

— В тюрьме сидемши. Научили.

Приходилось мне раза три слышать:

«Хорошо было Ванюшке сыпать» (спать) — переделку некрасовских «Коробейников».

— Ты что же, прочитал ее где, что ли? — спросил я певшего мне сапожника Алфимова.

— Никак нет-с. В тюрьме обучился.

Из чисто народных песен каторга редко-редко поет «Среди долины ровныя», предпочитая этой песне ее каторжное переложение:

— «Среди Данилы бревна»...

Бессмысленную и циничную песню, которую, впрочем, как и все, тюрьма поет тоже редко. Любят больше других еще и малороссийскую:

«Солнце низенько,
Вечер близенько»

И любят за ее разудалый припев, который поется лихо, с присвистом, гиканьем, постукиванием в ложки «дисципли-

нарных» из бывших полковых песенников, с ругательными вскрикиваниями слушателей.

Почти всякий каторжанин знает, и чаще прочих поется очень милая песня:

«Вечерком красна девица
На прудок за стадом шла.
Черноброва, круглолица
Так гусей домой гнала:

Припев.

Тяга, тяга, тяга, —
Вы, гуськи мои, домой!

Мне одной любви довольно,
Чтобы век счастливой быть,
Но сердечку очень больно
Поневоле в свете жить.

Припев.

Не ищи меня, богатый,
Коль не мил моей душе!
Что мне, что твои палаты?
С милым рай и в шалаше»...

Или последний куплет варьируется так:

«Вместо старого, седого,
Буду милого любить.
Ведь сердечку очень больно
Через злато слезы лить!»...

Песня тоже нравится из-за припева. И помню одного паренька, — он попался за какой-то глупый грабеж, — как он пел это «тяга, тяга, тяга, тяга!» Всем существом своим пел.

Раскраснелся весь, глаза горят, на лице «полное удовольствие»: словно и впрямь видит знакомую, родную картину.

Очень принято и тоже чаще других поется сентиментальная песня:

Звездочка моя ночная,
Зачем до полночи горишь?
Король, король, о чем вздыхаешь,
Со страхом речи говоришь?
  «Красавица моя драгая,
Да полюби-ка ты меня;
Со сбруей, сбруей золотой
Дарю тебе коня».
  — Не надо мне твоей златницы,
  Не нужен мне твой добрый конь. —
Отдай, отдай коня царице,
Жене прелестной дорогой.
А мне, мне, красной ты девице,
Верни души моей покой...
  Король, с женою расставаясь,
Детей к благословенью звал:
  «Прощай, жена, прощайте, дети!
Едва от слез он им сказал, —
Живите в дружеском совете,
Как Сам Господь вам указал,
Не мстите злом за зло в ответе,
Платите добротой!» — сказал...

Эта сентиментальная песня про короля, кинувшего свое королевство из-за любимой девушки, поется с большим чувством.

Но все эти песни поются только молодой каторгой, — и вызывают негодование стариков:

— Ишь, черти! Чему обрадовались!

Особенно, помнится, разбесила одного старика песня про девицу, которая «гусей домой гнала». Припев «тяга, тяга» приводил его прямо в остервенение.

— Начальству жалиться буду! Покоя не даете, черти! — орал он. А это угроза на каторге не обычная.

— Да почему ж тебе, дедушка, так эта песня досадила? — спрашиваю.

— А то, что не к чему ее играть.

И, помолчав, добавил:

— Бередит. Тфу!

Бог весть, какие воспоминания бередили в душе старого бродяги эти знакомые слова: «тяга, тяга»*.

Из специально тюремных песен из Сибири на Сахалин пришли немногие. Если в тюрьме есть 5-6 старых «еще сибирских» бродяг, они под вечерок сойдутся, поговорят о «привольном сибирском житье»:

«Сибирь-матушка благая, земля там злая, а народ бешеный!»

И затянут под наплывом нахлынувших воспоминаний любимую бродяжескую: «Милосердные наши батюшки», — я приводил эту песню в статье: «Каторжный театр». Поют, и вспоминается им свобода, беспредельная тайга, «саватейки», бешеный, но добрый сибирский народ. А сахалинская каторга, не знающая ни Сибири, ни ее отношений к каторге, смеется над ними, над их воспоминаниями, над их песней.

— Нешто это возможно, чтоб чалдон (по-нашему обыватель) был к варнаку добрый! Ни в жисть не поверю! — говорил мне один, — да и не один, — «сахалинец».

Есть еще излюбленная «сибирская» песня, которую время от времени затягивает каторга:

«Вслед за буйными ветрами,
Бог защитник — мой покров,
В тундрах нет зеленой тени,
Нет ни солнца ни зари,
Вдруг являются, как тени,
По утесам дикари.
От Ангары к устью моря
Вижу дикие скалы, —

* Так в деревне сзывают гусей.

Вдруг являются, как тени,
По утесам дикари.
Дикари, скорей, толпою
С гор неситеся ко мне, —
Помиритеся со мною:
Я — ваш брат, — боюсь людей»...

Когда эту песню, рожденную в Якутской области, поет каторга, — от песни веет какою-то мрачною, могучею силой. Сколько раз я жалел, что не могу записать мотивов этих песен!

Интересно было бы записать напев и этой, когда-то любимой, а теперь умирающей каторжной песни:

«Идет он усталый, и цепи гремят,
Закованы руки и ноги.
Покойный и грустный он взгляд устремил
По долгой, пустынной дороге...
Полдневное солнце бесщадно палит,
Дышать ему трудно от боли,
И каплет по капле горячая кровь
Из ран растравленных цепями...»

Эта песня — отголосок теперь упраздняемых «этапов».

И пела мне каторга свою страшную песнь, которую я назвал бы «гимном каторги». Что за заунывный, как стон осеннего ветра, мотив. Всю душу истомившуюся вложила каторга в этот напев. И когда вы слышите эту песню, вы слышите душу каторги.

«Посреди палат каменных, ты подай, подай!
Ты подай весточку в Москву каменную,
В Москву каменну, белокаменну...
Ты воспой, воспой, жавороночек,
Ты воспой, воспой! Ты воспой, воспой
Про ту горькую да неволюшку.
Кабы весть подать да отцу рассказать
Про то, что со мною случилося

На чужой на той сторонушке...
Я не вор ведь был, не убивец,
Но послали меня, добра молодца, —
Попроведать каторги, распроклятой долюшки.
На чужой на той сторонушке
Больно тяжко ведь жить!
Эх, невеста моя!.. А ты, матушка!
Позабыла меня, словно сгинул я.
Но ведь будет пора, — и вернусь снова я,
За все беды и зло уж я вам отплачу, —
Будет время, вернусь...
Ты о том подай, жавороночек,
Подай весточку, — ты подай, подай!..»

Мне пели ее в тюрьме под вечер, после поверки. Пели все. Здоровый парень, сидя на нарах и глядя куда-то вверх, покрывал хор своим заливным тенором и уныло выводил про жавороночка, пел про обиду и месть, словно мечтал вслух. А из темных углов неслось это надрывающее душу:

— Ты подай, подай...

Унылое, безнадежное. Горло себе перерезать можно, слушая такое пение.

Но все эти песни, в Сибири рожденные, на Сахалин привезенные, как я уже говорил, не любит каторга. Они «бередят». И если уж петь, — она предпочитает другие, — «веселые». Их нельзя передать в печати. И что это за песни! Это даже не цинизм... Это совсем уж черт знает что: бессмысленнейший набор слов, из сочетания которых выходит что-то похожее на неприличные слова.

Вот вам что поет каторга. Говорят, что песня — это «душа народа». И каторга поет песни, от которых то веет сентиментальностью, этим «суррогатом чувства», который часто заменяет у людей настоящее чувство, то вечно ноющей раной — тоскою по родине, то злобой, то пережитыми страданиями, то напускным «куражом», то цинизмом и каторжной «оголтелостью».

А чаще всего каторга молчит.



КОММЕНТАРИИ

Песни каторги. Песни сибирских каторжан, беглых и бродяг

Публикуется по изд.: *Песни каторги: Песни сибирских каторжан, беглых и бродяг*. Собрал В. Н. Гартевельд. М., б.г. [1912]. Текст приводится в новой орфографии, с исправлением некоторых опечаток.

Вильгельм Наполеонович Гартевельд (Хартевельд) родился в Стокгольме 5 апреля 1859 г. После окончания Лейпцигской консерватории, обосновался в 1882 г. в России. К 1894 г. им была написана опера «Песнь торжествующей любви (Сон)» на сюжет, заимствованный из повести И. Тургенева; поставленная в 1895 г. в Харькове и частной опере Унковского в Москве, опера не принесла особого успеха композитору. Гартевельд писал также оркестровые сочинения («Испанские танцы»), романсы на слова А. Толстого, Д. Ратгауза, музыку для московского театра-кабаре «Летучая мышь» и др. произведения, выступал в газетах с критическими статьями.

Однако наибольшую известность получил он как путешественник и собиратель музыкального фольклора. Гартевельд несколько раз побывал в Сибири и в 1908 г. отправился в длительную поездку по «Великому Сибирскому Пути», поставив себе целью собрать песни каторжан и бродяг, а также коренного населения Сибири.

Вернувшись из путешествия, Гартевельд издал множество нотных записей каторжных песен в своей обработке: «Песни каторги: Песни сибирских бродяг и каторжников» (СПб., 1908), «8 песен сибирских каторжан, бродяг и инородцев...» (СПб., 1908), «25 песен сибирских каторжан, бродяг и инородцев...» (СПб, 1909), «14 песен сибирских каторжан, бродяг и инородцев, собранных на месте в Сибири в 1908 г. В. Н. Гартевельдом» (СПб., 1910). Помимо объединенных в эти серии выпусков, отдельные нотные записи выходили в Москве, Киеве и Санкт-Петербурге.

В 1909 г. 12 каторжных песен в обработке Гартевельда были записаны на граммофонные пластинки и выпущены с пояснительной брошюрой.

18 февраля 1909 г. Гартевельд выступил с докладом о своем путешествии на заседании Музыкально-этнографической комиссии Им-

ператорского Общества любителей естествознания, антропологии и этнографии при Московском университете.

«По открытому листу премьер-министра докладчик посетил тюрьмы: Тобольска, Нерчинска, Томска, Акатуя, Николаевска, Кургана и Петропавловска. Собранные им песни разделяются на каторжные, бродячие и заводские. Кроме этих г. Гартевельд записал и несколько инородческих песен: айнов (1), вогулов (2), самоедов (2), бурятских (2), киргизских (1) и якутских (1). Всего записано им более 60-и песен, как для одного голоса, так и с аккомпанементом народных инструментов, а также и хоровых. Г. Гартевельд доклад свой иллюстрировал исполнением на фортепиано. Многие из записанных песен оказываются весьма интересными в музыкальном отношении» – сообщалось в «Известиях» общества.

В том же году Гартевельд при содействии известного дирижера А. Эйхенвальда организовал ансамбль для исполнения каторжных песен и отправился в турне по России. Концерты, которые именовались «Песни каторги и воли» и предварялись лекцией Гартевельда, пользовались феноменальной популярностью; экзотический, овеянный духом человеческих страданий и политической фронды музыкальный материал привлекал слушателей из самых различных слоев общества.

«На тех же подмостках, где несколько часов назад цинично и тупо кривлялся на потеху “почтенной публике” пошлый фарс, стоит В. Н. Гартевельд, одухотворенный необычными для культурного европейца переживаниями “мира отверженных”, и с трогательной для русского интеллигента наивностью делится с внимательной аудиторией своими впечатлениями: “Я буду счастлив, если вы увидите по этим песням, что люди, сочинившие их, такие же люди, как и вы”. Театр полон. Властно и мрачно вторгается “отверженный мир” в царство своего “нарядного, сытого и свободного” собрата: “Я всем чужой! Я отплачу!”... Пусть вместо свирелей – фисгармония, вместо стука кирок – пианино, вместо каторжан и бродяг – хор московской оперы и солисты, но их голосами поет сама каторга!.. Чуткие музыканты В. Н. Гартевельд и А. А. Эйхенвальд оставили ее песни во всей их мрачной жизненной неприкосновенности. Сохранен даже каторжный аккомпанемент в “Кандальном марше”. Этот марш – откровение каторжного мира. Впечатление от марша – незабываемое, исключительное. Впрочем, маршу предшествуют еще 9 каторжных песен, оставляющие сильное впечатление, особенно в “Зачем я мальчик уродился”, в “Похоронах” и в “Ой, ты, тундра” в исполнении г-на Ошустовича (тенор) и известного в Казани г-на Сергеева (сильный и сочный бас).

Потом идут хоровые песни: древняя, как мир, “молитва ламаитов” (по-санскритски), “заклинание шаманов” (по-бурятски), киргизская “весенняя песня” и первая в музыкальной литературе песня вымирающих айносов (по-айносски). Кончается необыкновенный концерт польским “Кыбелем” (песня повстанцев-каторжан)» – так описывала «Казанская газета» (10 июля 1909) один из концертов Гартевельда, состоявшийся в Казани 7 июля 1909 г.

«Незабываемое, исключительное» впечатление производили эти концерты и на искушенную московскую публику. «Ужасающая жизненная правдивость, своеобразность, чисто русская поэзия этих песен, несмотря на громадные расстояния, отделяющее место их склада от нас, будирует наши чувства и безумным ураганом врывается в нашу безмятежную жизнь,<...> нарушив покой, силится отомстить за надломленную поруганную душу, напоминая нам о царстве горя и необъятной тоски» – писал музыкант-этнограф А. Маслов («Музыка и жизнь», № 3, 1910).

В глазах властей концерты Гартевельда носили отчетливо оппозиционный характер: каторга после поражения «первой русской революции» 1905-1906 гг. была переполнена «политическими». 2 сентября 1909 г. Департамент полиции издал циркуляр за подписью директора департамента Н. Зуева; в циркуляре, направленном губернаторам и градоначальникам, указывалось, что особенным успехом на концертах Гартевельда пользуется «Кандальный марш» в сопровождении звона кандалов.

«Вследствие сего, – говорилось в документе, – и принимая во внимание, что подобное исполнение означенного марша, внося нежелательное возбуждение в общественную среду, может вместе с тем вызывать сочувствие к преступным элементам, подвергшимся за свою деятельность законному возмездию, имею честь, согласно приказанию Господина Министра внутренних дел, уведомить Ваше превосходительство, что дальнейшее исполнение помянутого “Кандального марша” на концертах не должно быть допускаемо».

Летом 1910 г. Гартевельд подготовил представление в декорациях и костюмах «Песни каторжан в лицах», которое было анонсировано на эстраде московского сада «Эрмитаж», но спектакль был запрещен за несколько дней до премьеры.

Тем временем у шведско-русского композитора появились подражатели: предприимчивые музыкальные деятели быстро осознали весь потенциал нового жанра «каторжной песни», которому через несколько десятилетий предстояло расцвести в городском фольклоре, а затем в бардовской песне и так называемом «шансоне». На сценах кафе-шантанов стали появляться «квартеты сибирских бро-

дяг», солисты-исполнители каторжных песен и т.п. Дошло до того, что Гартевельд, как сообщала «Петербургская газета» в мае 1909 года, «обратился к московскому градоначальнику с просьбой запретить исполнение этих песен в разных увеселительных садах, находя, что эти песни “скорби и печали” не к месту в таких заведениях. Просьба Гартевельда градоначальником удовлетворена».

Роль Гартевельда в пропаганде и распространении песенного фольклора сибирской каторги переоценить трудно: в отличие от своих предшественников, он впервые записал не только слова, но и мелодии каторжных и тюремных песен; благодаря ему, в музыкальную культуру вошли «Славное море, священный Байкал», «По диким степям Забайкалья» и другие шедевры.

Вместе с тем, нельзя не заметить, что сами тексты песен у Гартевельда порой являются усеченными и «испорченными»; процесс исчезновения песенных текстов из памяти каторги можно проследить, сравнив их с записями С. Максимова и Н. Ядринцева.

В 1911 г. Гартевельд опубликовал в журнале «Русское богатство» ряд очерков о своих сибирских впечатлениях, озаглавленных «В стране возмездия». В 1912 г. вышла книга «Каторга и бродяги Сибири» (второе изд. 1913). В том же году книгоиздательством В. Антика «Польза» в Москве в знаменитой серии «Универсальная библиотека» был издан сборник «Песни каторги», включивший 57 песен, который приводится в нашем издании.

Не забыл Гартевельд и о столетней годовщине Отечественной войны, пышно отмечавшейся в 1912 г. В Москве была издана его книжка «1812 год в песнях: Собрание текстов 33 русских и французских песен эпохи нашествия Наполеона I-го на Россию в 1812 г.», а в петербургском музыкальном издательстве Ю. Циммермана вышел монтаж для голоса, хора и фортепиано «1812 год: 35 русских и французских песен, маршей, танцев и пр. эпохи вторжения Наполеона I в Россию в 1812 году».

Тонко чувствовавший спрос аудитории Гартевельд организовал также «Исторические концерты», в которых исполнялись собранные им песни, в залах Благородного собрания Петербурга и Москвы, а затем и в провинции.

В 1913 г. библиография Гартевельда пополнилась книгой «Среди сыпучих песков и отрубленных голов: Путевые очерки Туркестана» (второе изд. 1914): продолжал он и публиковать критические статьи в периодике. Стоит упомянуть, что в 1910-е гг. некоторой известностью в артистических кругах Петербурга пользовались сыновья композитора: Георгий, также композитор, написавший десятки роман-

сов на стихи поэтов Серебряного века, и Михаил, автор трех поэтических книг, изданных в 1913-1916 гг.

В 1919 г. В. Н. Гартевельд эмигрировал и после недолгого пребывания в Константинополе, вернулся летом 1920 г. в Швецию. Здесь он выступал с лекциями, концертами, публиковал мемуарные очерки, собранные в книге «Черное и красное: Трагикомические истории из жизни старой и новой России» (1925).

Но не это прославило его имя на родине. В 1920 г. Гартевельд опубликовал в Швеции сразу ставший знаменитым «Марш Карла XII», восстановленный им по записям начала XVIII в., якобы найденным в Полтавском городском архиве. Как было доказано в 1970-е гг., вся история была не более чем... мистификацией: великолепный марш шведского короля был основан на некоем «Марше московского ополчения», который Гартевельд включил в свой юбилейный монтаж 1912 г. Этот последний Гартевельд представил как свою «запись» – но не являлся ли «марш ополченцев» очередной мистификацией изобретательного композитора?

В. Н. Гартевельд умер в Стокгольме 1 октября 1927 г.

С. В. Максимов. Тюремные песни

Публикуется по изд.: *Максимов С. В. Сибирь и каторга: В трех частях*. СПб., 1900. Текст приведен в новой орфографии с исправлением некоторых опечаток.

Очерк был опубликован в составе книги видного этнографа, писателя, путешественника Сергея Васильевича Максимова (1831-1901) «Сибирь и каторга» (СПб., т. 1-3, 1871).

Книга эта имела свою любопытную историю. В 1860 г. Максимов по поручению Морского министерства отправился на Дальний Восток для исследования Амурской области; на обратном пути ему было поручено обозрение сибирских тюрем и быта заключенных.

Однако исследование Максимова не было разрешено к публикации. Морским министерством был «секретно», тиражом в 500 экз., издан лишь первый том труда этнографа под названием «Ссыльные и тюрьмы» (СПб., 1862).

Впоследствии Максимов смог опубликовать ряд очерков тюремного быта и нравов в журналах «Вестник Европы» и «Отечественные

записки», а в 1871 г. вышла упомянутая выше книга «Сибирь и каторга».

Будучи глубоким знатоком народного быта и замечательным писателем, Максимов собрал в своих странствиях и путешествиях богатейший этнографический материал. Но сколько-нибудь научный взгляд был ему чужд, и собранное часто преподносилось им весьма сумбурно и некритически.

Такой подход характерен и для «Тюремных песен», в которых Максимов, к примеру, совершенно не подвергает сомнению традиционную в фольклоре атрибуцию «разбойничьих» песен различным персонажам, приобретшим статус мифических героев (Стенька Разин, Ванька Каин и т.п.). Не сомневается он и в том, что анонимная книга о Ваньке Каине (И. Осипове, 1715-после 1756), появившаяся впервые в 1770-х гг., являлась собственноручно написанной автобиографией этого сыщика-вора, «изуродованной переписчиками».

Вдобавок, очерк Максимова окрашен безоглядным славянофильством, за что автор справедливо критиковался уже Н. Ядринцевым. Максимов приводит действительно прекрасные образцы старинных песен, но все новейшие (фактически послепетровские) песни отказывается считать выражением «народного духа»; отказывает он им и в каких-либо поэтических достоинствах. Все это – искажения, искусственные поделки, «ненастоящие» народные песни, фальшивки. Наконец, такие песни прямо объявляются следствием «иноземного влияния», которое «глубоко уничтожает и искажает народный дух». Сталкиваясь же с бесспорным мастерством написанных образованными каторжниками песен, вплоть до «Славного моря», Максимов видит в них только барские безделки. В то же время, он дает некоторые ценные указания относительно тюремных и каторжных песен, прослеживая контаминацию текстов и бытование среди заключенных слегка переделанных романсов, «которые близко подходят своим смыслом к настроению общего тюремного духа».

Н. М. Ядринцев. Острожная поэзия, музыка и тюремное творчество

Публикуется по изд.: Н. М. Ядринцев. *Русская община в тюрьме и ссылке* (СПБ., 1872) по новой орфографии, с исправлением ряда очевидных опечаток.

Книга ученого, путешественника, общественного деятеля и публициста Н. М. Ядринцева (1842-1894), первооткрывателя древних монгольских городов Хара-Балгаса и Каракорума и памятников древнетюркской письменности, была начата за тюремными стенами и завершена в Шенкурске Архангельской губернии, где автор находился в ссылке.

Ядринцев и его товарищи, выступавшие за отделение Сибири от России и образование в ней независимого демократического государства, были арестованы в 1865 г. Ядринцев провел под следствием три года в остроге родного Омска; в 1868 г. он и другие сибирские «областники»-сепаратисты были осуждены на каторжные работы и поселение. В шенкурской ссылке Ядринцев провел пять лет и получил высочайшее прощение в 1873 г.

Книга Ядринцева получила высокую оценку современников, которые ставили ее наравне с «Сибирью и каторгой» С. В. Максимова и «Записками из мертвого дома» Ф. М. Достоевского; известно, что во время работы над «Воскресением» ее внимательно изучал Л. Н. Толстой.

В отличие от Максимова, Ядринцев видит в подлинной арестантской песне новейшее явление и проводит резкую грань между собственно тюремно-каторжными песнями и старинными разбойничьими напевами: «Арестантская песня отличается от всех народных песен своим новейшим складом; она то же самое, что песня мещанская, фабричная, которая носит особую тональность, рифму и подходит к новейшему языку».

Далек он и от критики подобных песен. По Ядринцеву, «мещанская» в истоке песня, так презираемая Максимовым, с ее неправильными размерами, «прозаичным» содержанием и «часто пошлыми» словами как раз и «изображает действительную жизнь народа, жизнь ссыльно-арестантской среды, ее судьбу, ее горе и радости. Притом недостатки формы, слабость или тривиальность словесного выражения и бедность содержания часто выкупаются музыкою песен, тем чувством и душою, с которыми они поются».

Разрыв между книгами Максимова и Ядринцева, вышедшими с промежутком в год, колоссален – вместо идеализации старины и нередко воображаемого «народного духа» появляется беспристрастное (а точнее – пристрастное и уважительное) изучение генезиса и функций актуального песенного корпуса тюрьмы и каторги, близкое к современной фольклористике.

Отметим, что именно «мещанская» и «книжная» песня, а также произведения образованных каторжников, на которых заостряет внимание Ядринцев, трансформировались с течением лет в «блат-

ной» песенный фольклор, а затем (не без участия «бардов») – в «шансон» конца XX-начала XXI вв.

В. М. Дорошевич. Песни каторги

Публикуется по изд.: Дорошевич В. М. *Сахалин (Каторга): Со многими рис.* М., 1903. Текст приводится в современной орфографии.

Данный очерк вошел в книгу журналиста, публициста, «короля» русского фельетона Власа Михайловича Дорошевича «Сахалин» (1903). Книга стала результатом поездки Дорошевича на Сахалин, предпринятой в 1897 г. по следам А. П. Чехова, побывавшего на каторжном острове семью годами ранее.

Книгу В. Дорошевича нередко критиковали за размашистый газетный стиль, «ловкую игру на струнах темного читательского сердца» (К. Чуковский). Вместе с тем, Дорошевич дал в книге широкую картину сахалинских порядков и каторжных нравов; его «психологические» портреты преступников отличаются трезвым взглядом и лишены народнического умиления Н. Ядринцева или восхищения разбойной «удалью», какое встречается у С. Максимова.

Оглавление